



# ФУЛЛСТЕК

Алексей и Ксения Волковы

Алексей и Ксения Волковы

**Фулстек**

«Автор»

2026

## **Волковы А.**

Фуллстек / А. Волковы — «Автор», 2026

Роман о контроле, который не требует присутствия контролирующего. О тюрьме, которая не нуждается в тюремщике. И о цене, которую платят те, кто решается из неё выйти. Он — геймдизайнер, муж, отец. Человек, который видел в людях код, а в отношениях — архитектуру. Его игра стала культовой. Его жена уверена: она знает о нём всё. В Москве гибнут молодые женщины. Без следов. Без мотива. Без единой зацепки. Журналистка видит то, чего не видят другие — паттерн. Связь между смертями и компьютерной игрой, которую знает вся страна. Очевидную связь, которую невозможно доказать. И тот, кто стоит за всем, — невидимый, терпеливый, точный. Система работает безупречно — пока кто-то не решает её сломать.

© Волковы А., 2026

© Автор, 2026

## Алексей и Ксения Волковы Фуллстек

\* \* \*

Его звали Леонид. И он ненавидел это имя.

Вернее, не столько само имя, сколько то, во что его превращали окружающие. Лёня. Лёничка. Это отвратительное уменьшительное казалось ему оскорблением – будто кто-то взял полноценную вещь, отломал от неё кусок и сунул обратно на полку, решив: так сойдёт. Оно стирало его личность, превращало в домашнюю принадлежность, которой можно вертеть как вздумается.

Его единственное убежище – комната. Квадрат идеального порядка. Бежевые обои, бледные, как кожа больного. Строго заправленная кровать: покрывало натянуто так, что на нём можно было бы чертить линии. Книги на полках расставлены по цвету корешков, от тёмного к светлому, от высокого – к низкому. Ни пылинки. Ни одной вещи, лежащей не на своём месте. Вокруг – только застывшее лаковое дерево и тишина, густая, как формалин.

Из гостиной доносился мерный, отечканенный стук шагов его матери, Елены Викторовны. Она совершала свой ежевечерний ритуал. Семилетний Леонид лежал в кровати, натянув одеяло до подбородка, и прислушивался. Каждый звук он знал наизусть, как ноты хорошо разученной сонаты.

Глухой стук о ковёр – она поправляет ногой уголок, выравнивая его строго по линии паркета. Затем лёгкий, сухой щелчок – подушечка пальца проводит по безупречно отполированной поверхности комода. Проверка на пыль. Металлический лязг зажигалки – вспыхивает ароматическая свеча. Свечи в их доме горели постоянно, но не для уюта. Для маскировки любых посторонних запахов – будь то запах еды, пота или самой жизни.

Шаги замирают у стеллажа с фарфоровыми статуэтками. Леонид мысленно видит, как тонкие пальцы берут каждую фигурку – пастушку, танцовщицу, амура, – и возвращают обратно с точностью часового мастера. Она проверяет, не сместились ли они на миллиметр от своей раз и навсегда назначенной позиции. Потом – кухня. Звук текущей воды в раковине. Она моет руки. Всегда – после статуэток. Всегда – ровно двадцать секунд. Он считал.

Их квартира больше напоминала музей, а Елена Викторовна была его главным хранителем и единственным посетителем. Она любила сына – в этом Леонид не сомневался. Но её любовь не была чем-то безусловным. Она постоянно требовала доказательств, а её методы больше походили на дрессировку, чем на воспитание.

Замечание, полученное в школе, можно было «отработать» безупречно сыгранной сонатой.

– Гамму. Ещё раз, – говорила она, стоя у пианино, и её голос был таким же ровным, как метроном на крышке инструмента.

– Я уже сыграл пять раз, – отвечал Леонид, не поднимая глаз от клавиш. Пальцы болели.

– Значит, сыграешь шестой. – Она не повышала голос. Никогда. – Когда ты научишься делать правильно с первого раза, тебе не придётся повторять.

Сломанную на прогулке ветку – часами вырисовывания нот в тетради. Не потому что это было наказание. А потому что хаос нужно было компенсировать порядком. Так она объясняла. И он верил. Потому что её объяснения всегда звучали как законы физики – не подлежащие обсуждению.

Её редкая улыбка была наградой. Знаком того, что он, Лёня, в данный момент соответствует стандарту. Молчание – ледяным укором, который обжигал сильнее любого крика. Он мог часами разгадывать, что именно он сделал не так: слишком громко закрыл дверь, неровно повесил полотенце, забыл задвинуть стул.

Как же он ненавидел каждое «Лёничка» от матери – укол булавки, замаскированный под ласку. Каждое «Ну ты даёшь, Лёнька!» от одноклассников – подтверждение, что он не принадлежит самому себе.

Отец на безукоризненном музейном фоне был тихим, размытым экспонатом. Каждый вечер он растворялся в кресле с газетой, и единственными звуками, которые он издавал, были шелест страниц и редкий, приглушённый кашель. Однажды Леонид спросил его:

– Пап, а тебе нравится здесь жить?

Отец опустил газету. Посмотрел на сына поверх очков. Его глаза были усталыми – не сегодняшней усталостью, а многолетней.

– А куда я денусь, – сказал он. И снова поднял газету.

Это был единственный по-настоящему честный разговор между ними. Леонид запомнил его навсегда – не как ответ, а как диагноз. Отец не жил здесь. Он находился здесь. Обслуживал систему своим тихим, почти незаметным присутствием. И в этот момент мальчик понял: есть те, кто создаёт правила, и те, кто растворяется в них.

Третьего не дано.

\* \* \*

Первой и последней игрушкой, не одобренной матерью, был старый механический будильник «Слава». Он нашёл его на антресолях, за коробками с ёлочными украшениями, завернутый в жёлтую газету. Корпус – никелированный, с потёртостями, стрелки – тонкие, как усики жука. На задней крышке – гравировка: «За отличную службу. Гуцин В.П., 1974». Дедушкин. Леонид никогда не видел деда – тот умер за три года до его рождения. Но эта вещь, тяжёлая и холодная, казалась ему письмом из другого мира. Мира, в котором мужчины носили имена, а не уменьшительные.

Семилетний Леонид мог часами сидеть в своей комнате и разбирать будильник на мельчайшие детали. Он использовал маникюрные ножницы матери – единственный инструмент, который он мог незаметно позаимствовать, – и раскладывал каждую деталь на белом листе бумаги, нумеруя их карандашом. Шестерёнка №1, пружина №2, винтик №3.

Внутри металлического корпуса открывался таинственный город. Зубчатые башни шестерёнок, пружины-мосты, винтики-заклёпки. Сердце Леонида, обычно сжатое в тугой комок от вечного ожидания провала, на секунду замирало в благоговейном восторге. Здесь всё было понятно. Всё подчинено логике. Никаких криков, никаких унижительных «Лёнек», никаких непредсказуемых эмоций. Каждая деталь знала своё место и свою функцию. Как в их квартире. Только честнее.

Он нашёл главную пружину – ту самую, что дарит механизму жизнь, – и замер, глядя на её напряжённую дугу. Она была похожа на свёрнутую змею: спокойная, но полная скрытой силы. А что, если...

Его палец лёг на виток пружины и мягко, но неумолимо нажал. Металл поскрипывал, сопротивление нарастало. Леонид чувствовал, как давление передаётся ему в подушечку пальца – словно пульс чужого сердца, которое он сжимал в руке. Механизм замер. Стрелки дрогнули и остановились. Время остановилось.

Леонид сидел неподвижно, вглядываясь в застывший циферблат. Внезапно нахлынувшее чувство власти было настолько громадным, что почти пугало. Он не просто сломал игрушку. Он своими руками остановил неумолимый ход Вселенной в этом одном, маленьком, целиком подконтрольном ему мире.

Вдруг шаги в гостиной смолкли.

Дверь в его комнату приоткрылась без стука. Она никогда не стучала.

– Лёня! Что ты там делаешь?

Голос был ровным, безразличным – и от этого пронзительно острым, как скальпель. Это имя, это жалкое, уменьшительное имя, рассекло его маленькое, но триумфальное уединение.

Он не обернулся. Он смотрел на остановившиеся стрелки, а его только что обретенная власть таяла под ледяным весом этого слова.

– Ничего, – тихо ответил он, всё ещё глядя на механизм. – Просто проверяю.

– Что провераешь? – В её голосе появилась тень раздражения. Она не любила неопределённости. – Покажи.

Он медленно повернулся, держа будильник в ладонях, как пойманную птицу. Елена Викторовна посмотрела на разобранный механизм, на разложенные по номерам детали, на белый лист бумаги с аккуратными подписями. Несколько секунд она молчала. Потом её брови чуть приподнялись – едва заметно, но для Леонида этот микроржест был громче аплодисментов.

– Убери, когда закончишь, – сказала она. И вышла, не закрыв дверь.

Он понял: ей не понравилось. Но она не отняла. Потому что увидела в разложенных деталях не беспорядок, а систему. И система – единственное, что она могла уважать.

\* \* \*

На день рождения, когда Леониду исполнилось десять лет, тётя подарила ему хомяка. Маленький, золотистый комочек в картонной коробке с дырочками. Тётя – сестра отца. Мягкая, рыхлая женщина, пахнущая ванилью и немного – нафталином. Она приезжала два раза в год: на Новый год и на день рождения Леонида. Каждый раз привозила что-то неуместное. Плюшевого медведя, когда ему было восемь (Елена Викторовна отдала его соседям через неделю). Набор фломастеров, когда ему было девять (мать убрала их в шкаф со словами: «Рисовать нужно карандашом, фломастеры – для детского сада»).

– Смотри, Лёничка, какой хорошенький! – сказала тётя, протягивая коробку.

От этого уменьшительно-ласкательного суффикса его передёрнуло. Даже здесь, в этот день, который должен был быть его днём, его снова обкорнали, сделали маленьким. Лёничка. Как будто само имя нуждалось в уменьшении – словно его и без того было слишком много.

– Его зовут Прошка, – добавила тётя с улыбкой, от которой щёки собрались в мягкие складки.

Елена Викторовна стояла в дверях кухни. Она смотрела на коробку с тем выражением, с каким смотрят на пятно на скатерти – не с гневом, а с холодным вычислением: сколько усилий потребуется, чтобы это устранить.

– Спасибо, – сухо сказал Леонид, принимая коробку. Он не испытывал восторга. Он испытывал интерес. Новый объект для изучения.

Тётя посмотрела на Елену Викторовну:

– Лена, ну каждому мальчику нужен питомец! Это же ответственность, забота...

– Ответственность – это когда ты убираешь за собой, – ответила мать, не меняя выражения лица. – А не когда ты убираешь за животным.

– Я буду убирать сам, – сказал Леонид. Тихо, ровно. Без просьбы в голосе.

Елена Викторовна посмотрела на него. Долгая, оценивающая пауза.

– Посмотрим, – произнесла она. Что на её языке означало условное согласие. Испытательный срок.

Прошку поселили в клетку в углу его комнаты. Первые дни Леонид наблюдал. Он завёл отдельную тетрадь – в клетку, с синей обложкой – и фиксировал режим зверька. Подъём: 7:12. Колесо: 7:15–7:43. Еда: 7:44. Сон: 8:20–12:30. Он пытался найти логику, алгоритм. Составлял графики, чертил оси координат. Но Прошка был хаотичен.

Он мог внезапно проснуться среди ночи и начать грызть прутья – яростно, бессмысленно, словно пытаясь прогрызть дыру в самой структуре мироздания. Он разбрасывал опилки за пределы клетки. Он шуршал, скрёбся и нарушал тишину – единственный закон, который в этом доме не имел исключений.

Однажды утром Прошка сбежал. Леонид проснулся от непривычного звука – тихого, но отчётливого цоканья крошечных когтей по паркету. Клетка была открыта: защёлка, видимо, не выдержала ночного штурма.

Он нашёл Прошку в гостиной. Хомяк сидел на лакированной поверхности комода, среди фарфоровых статуэток, и чистил усы с видом завоевателя. На ножке комода, чуть ниже, зияли свежие, глубокие зазубрины.

В этот момент в комнату вошла Елена Викторовна.

Она была в халате – шёлковом, бледно-сером. Волосы собраны. Лицо ещё не проснувшееся, но глаза уже работали: сканировали, фиксировали, классифицировали. Её взгляд прошёл по комоду, по хомяку, по зазубринам. Лицо стало каменным.

Она не произнесла ни слова. Взяла Прошку двумя пальцами – брезгливо, как берут мокрую тряпку, – посадила обратно в клетку. Защёлкнула замок. Посмотрела на Леонида. Молчание длилось семь секунд. Он считал. Потом она ушла.

Это было хуже крика. Хуже наказания. Это было вычёркивание. Он перестал существовать для неё в тот момент, когда Прошка оставил следы на комоду, – потому что Прошка был его ответственностью, его обещанием, а значит, эти зазубрины оставил он сам.

Леонид смотрел на хомяка, который уже снова пытался раскатать прутья. Золотистый комочек бился о металл с тупым, ритмичным упорством. Тук. Тук. Тук. Сначала он чувствовал жалость. Потом – раздражение. А потом, неделя за неделей, раздражение превратилось в холодную, ясную ненависть. Не к зверьку. К тому, что этот зверёк олицетворял. Хаос. Непредсказуемость. Невозможность контроля. Своим маленьким, мохнатым существованием Прошка постоянно напоминал Леониду о его роли – роли надзирателя, который не справляется. О его бессилии перед волей матери. О тех семи секундах молчания.

Решение пришло скорее не как импульс, а как вывод. Логическое заключение, вытекающее из набора данных. Если элемент системы создаёт помехи и не поддаётся коррекции – элемент необходимо удалить.

Рука Леонида не дрогнула, когда он вылил воду из поилки и налил растительное масло. Для него это был акт восстановления порядка, а не жестокости. Жестокость подразумевает эмоцию. Он не чувствовал ничего, кроме необходимости. Он поставил поилку на место. Прошка, мучимый жаждой после ночного бега в колесе, подошёл и стал пить. Его крошечный язык мелькал в узком горлышке.

Леонид сидел рядом с клеткой и записывал в тетрадь: «22:40 – П. пьёт. Объём: ~5 мл. Реакция: нет». Он не испытывал удовольствия. Он чувствовал справедливость. Ту самую холодную, безжизненную справедливость, которой дышала вся их квартира. Ночью он лежал в кровати и слушал. Шуршание опилок. Прерывистое, влажное дыхание. Потом – тишина.

Утром он нашёл Прошку мёртвым. Золотистое тельце лежало на боку, лапки поджаты, глаза-бусины – открыты, но уже ничего не отражают. Он не плакал. Он аккуратно закрыл тетрадь. Встал. Вышел в гостиную. Мать сидела за столом, пила кофе из белой чашки. Утренний свет из окна делал её лицо ещё бледнее.

– Прошка мёртв, – сказал он. – Больше беспорядка не будет.

Елена Викторовна подняла на него глаза.

Несколько секунд она смотрела, не моргая. И впервые в её глазах было не просто одобрение. Не снисходительная похвала авторитета. Там было нечто более ценное – уважение равного. Как будто она наконец увидела в нём не ребёнка, которого нужно формировать, а готовое изделие. Завершённое. Соответствующее стандарту.

– Хорошо, – сказала она. И отпила кофе.

Это «хорошо» было самым тёплым словом, которое он когда-либо от неё слышал.

\* \* \*

Именно тогда, в стерильной лаборатории его детства, родился новый проект. Объектом изучения стали не вещи – люди. Леонид наблюдал за одноклассниками с тем же вниманием, с каким когда-то наблюдал за шестерёнками будильника. Только масштаб изменился.

Девочки. Их смех, глупые ссоры и мирилки через два урока. Их шёпот на переменах. Записки, передаваемые из руки в руку. Они казались ему такими же шумными, несовершенными и неправильно собранными механизмами, как тот хомяк. Только сложнее. И потому – интереснее.

Особенно те, что были похожи на его мать в юности – он видел фотографии в старом альбоме, который мать хранила на нижней полке стеллажа. Светловолосые, хрупкие, с лучистыми улыбками, за которыми, как он теперь знал, могла скрываться всё та же леденящая пустота.

Он завёл новую тетрадь. Без синей обложки – в этот раз чёрную. И начал записывать.

«Катя С. – реагирует на комплименты с задержкой 2–3 сек. Притворяется, что ей всё равно. Но краснеет. Вывод: высокая потребность в одобрении, замаскированная под равнодушные».

«Оля М. – кусает нижнюю губу, когда врёт. Частота вранья: ~4 раза за урок. Темы лжи: оценки, отношения с родителями, деньги на завтрак».

«Настя Д. – подражает речи учительницы литературы. Копирует интонации. Не замечает этого. Вывод: отсутствие собственной идентичности. Потенциал для внешнего моделирования: высокий».

Он не показывал эту тетрадь никому.

\* \* \*

Однажды, в отцовской библиотеке – три полки за креслом, в котором отец каждый вечер прятался от реальности, – Леонид обнаружил этимологический словарь. Толстый, в потёртом коричневом переплёте, со следами кофейных кругов на обложке. Единственная вещь в доме, которая выглядела по-настоящему использованной.

Он искал значение своего имени. «Леонид» – «подобный льву». Греческое. Происхождение: от λέων (лев) + εἶδος (вид, подобие). Это его устроило. Лев – царь зверей, сила, независимость. Но «Лёня» была коверканьем, профанацией этого смысла. Каждый раз, когда кто-то произносил «Лёня», он слышал, как от льва отпиливают когти.

У него родилась мечта о новом имени. Несколько недель он перебирал варианты, листая словарь по вечерам, когда мать совершала свой ритуал, а отец шелестел газетой. Он искал слово, которое будет звучать как приказ. Как констатация факта. Как титул.

Александр – «защитник людей». Нет. Ему не нужно никого защищать.

Максим – «величайший». Слишком громко. Слишком заметно.

Виктор – «победитель».

Он закрыл словарь. Победитель.

С этого момента в его голове жили два человека. Лёня – слабый, контролируемый мальчик, которого все видели. Тот, кого можно потрепать по голове и сказать «Ну ты даёшь, Лёнька!» Тот, кто слушается мать и убирает за хомяком. И Виктор – его истинное «я». Могушественное и скрытое. Которое ждёт своего часа.

Он начал готовить почву.

Как-то впервые поправил учительницу, которая назвала его Лёней. Это произошло на уроке литературы, перед всем классом. Мария Андреевна, полная женщина с добрыми глазами, сказала:

– Лёня, прочитай нам, пожалуйста, стихотворение.

Он встал. Посмотрел на неё. И сказал:

– Моё имя – Леонид.

Голос был ледяным, бесстрастным – тон, который заставил Марию Андреевну запнуться. Класс притих. Кто-то хихикнул, но хихиканье тут же захлебнулось, встретившись с его взглядом.

– Да-да, конечно, Леонид, – пробормотала учительница, поправляя очки.

Он прочитал стихотворение. Сел. И понял, что это работает. Имя – это рычаг. Голос – инструмент. Взгляд – оружие.

Дома он терпел «Лёню» от матери. Но его молчание в ответ теперь было красноречивее любого протеста. Раньше он молчал, потому что боялся. Теперь – потому что копил. Он оттачивал свой будущий образ: сдержанность, безупречные оценки и абсолютный самоконтроль.

\* \* \*

Пока одноклассники жили в хаосе подростковых драм – первая любовь, первое предательство, первая сигарета за гаражами, – Леонид составлял карты их социальных связей. В общей тетради, разлинованной в клетку, он рисовал схемы: кружки с именами, стрелки, дуги, обозначающие «дружбу», «симпатию», «ненависть», «зависимость». Он был не игроком в их маленькой вселенной. Он был модератором. Невидимым богом.

Он учился запускать вирусы сплетен в замкнутую систему и наблюдать, как они вызывают эпидемии ненависти. Достаточно было одного слова, сказанного нужному человеку в нужный момент: «Знаешь, что Катя говорила про тебя Олегу?» – и по всему классу расходились круги. Он записывал результаты, сравнивал, корректировал.

Иногда экспериментировал.

– Настя, ты знаешь, что Маша хочет занять твоё место в школьном совете? – говорил он, глядя чуть мимо неё, с выражением дружеской озабоченности.

– Откуда ты знаешь? – Настя круглила глаза.

– Мне не нужно знать. Я наблюдаю. – Пауза. – Подумай сама.

И Настя думала. Начинала подозревать. Ссорилась с Машей. Союзы рушились. Новые образовывались. Он фиксировал: «Время распада дружбы Настя–Маша после вброса: 4 дня. Предыдущий опыт (Катя–Оля): 6 дней. Метод становится эффективнее».

Его привлекали девочки с фарфоровой хрупкостью и лучистыми улыбками – живые куклы, в которых он искал изъян. Он не влюблялся. Влюблённость – это потеря контроля, а потеря контроля – это Прощка на комод. Он конструировал квесты: одним становился незаменимым репетитором, другим – идеальным другом, третьим – проводником к их же мечте.

А потом подводил к пропасти морального выбора.

И когда «кукла» падала с пьедестала, запачканная ложью или предательством, он холодно фиксировал в чёрной тетради: «Брак. Персонаж не прошёл проверку. Игру можно начинать заново».

\* \* \*

Его одноклассники мечтали о будущем. Он его проектировал.

К выпускному классу он уже получил письмо о зачислении в Массачусетский технологический институт. Плотный белый конверт с серебряным тиснением MIT. Его билет в элиту мирового IT – заблаговременно обеспеченный безупречными оценками, рекомендательным письмом от учителя информатики и олимпиадными наградами, собранными с методичностью коллекционера.

Конверт он хранил в ящике стола, под тетрадями. Иногда доставал и проводил пальцем по тиснению. Не из гордости. Из удовлетворения инженера, чей проект прошёл все стресстесты.

В рамках конкурса молодых талантов «Фестиваль научных идей и технологий 1999» он представил свой проект. Это была не просто программа. Это был социальный симулятор – настоящий шедевр цифровой социопатии, в котором виртуальные персонажи, наделённые

сложными поведенческими алгоритмами, вступали в отношения, строили альянсы, предавали и унижали друг друга по воле игрока.

Название проекта: «Масса» (The Mass).

Суть была проста и жутка одновременно. Игрок – невидимый бог, который может вбросить сплетню, свести двух персонажей или настроить их друг против друга, наблюдая, как по цепочке рушатся дружбы, любовь и карьеры. В конце игрового года система выдавала отчёт с графиками психического состояния каждого персонажа и рейтингом эффективности игрока по созданию хаоса.

Зал конкурса – актовъый зал школы, украшенный плакатами с формулами и портретами учёных. Леонид стоял у проектора, подключённого к ноутбуку, и щёлкал слайды с тем же спокойствием, с каким расставлял детали будильника на белом листе.

Жюри – учителя и приглашённые IT-специалисты – было в полном замешательстве. С технической точки зрения – работа гениальна. Со стороны – мурашки по коже. Учитель информатики, Павел Сергеевич, – единственный человек в школе, которого Леонид почти уважал, – снял очки и потёр переносицу.

– Беспрецедентная сложность поведенческих моделей, – сказал он, глядя на экран, где виртуальные «жители» ссорились, мирились и разрушали друг друга. – Но, Леонид... где же душа? Где мораль?

Зал притих. Леонид стоял ровно, руки вдоль тела. Его лицо было абсолютно спокойным – ни усмешки, ни вызова, ни тени иронии.

– Мораль – это переменная, которую можно изменить в настройках, – сказал он. – Душа – недоказуемый концепт, неэффективный для симуляции. Я моделировал человеческое поведение, а не добродетель.

Павел Сергеевич надел очки обратно. Посмотрел на Леонида так, как пожарный смотрит на дом, который ещё не горит, но уже пахнет дымом.

– Ясно, – сказал он. И поставил отметку в блокноте.

\* \* \*

*23 мая 1999 года. Москва.*

Майский день выдался жарким – не по-весеннему, а по-летнему, нагло и бесцеремонно, как будто лето не стало дожидаться своей очереди и вломилось без приглашения. Асфальт дышал маревом, тополинъый пух ещё не полетел, но уже чувствовался в воздухе – как предчувствие аллергии. Москва плавилась и нервничала, и у этой нервозности было конкретное имя: «Максидром».

Вера неслась по аллее парка, петляя между бабушками с колясками и мужиками с пивом. За спиной остались Ленка и Даша, с которыми она прогуливалась последние два часа, – вернее, делала вид, что прогуливалась, а на самом деле каждые три минуты поглядывала на часы.

– Вер, ты куда?! – крикнула Ленка вслед.

– На «Максидром»! Опаздываю!

– Мы же ещё хотели мороженое!

– Потом! – Она обернулась на бегу и махнула рукой. – Завтра расскажу!

В её правой руке, зажатый в потных пальцах, – заветный бумажный прямоугольник. Билет. Она купила его две недели назад в переходе у Пушкинской, у небритого мужика в кожаной жилетке, который торговал кассетами и концертными афишами. Отдала сто двадцать рублей – половину денег, скопленных за весну с обедов. Мать, когда узнала, покачала головой:

– Стоит тебе одной туда ходить? Там же толпа, давка...

– Мам, мне семнадцать. Я на олимпиаде по литературе первое место взяла. Думаю, рок-фестиваль переживу.

Мать вздохнула. Отец из-за газеты – он всегда был за газетой, но в отличие от отца Леонида, его газета была живой, зашуршанной, с загнутыми углами и чернильными пометками – сказал:

– Пусть идёт. В её годы я на Высоцкого лазил через забор.

– Вот именно поэтому я и волнуюсь, – ответила мать.

Но отпустили.

Вся её семнадцатилетняя жизнь вела к этому лету. Золотая медаль – не та, которую вручают на линейке, а настоящая победа, честная, выгрызенная зубами из каждого экзамена. Первое место на городской олимпиаде по литературе – эссе «Достоевский как криминальный журналист: преступление как метод познания», от которого жюри пришло в лёгкое замешательство, а потом – в восторг. И заявление на журфак МГУ, уже отправленное по почте заказным письмом, с маленькой квитанцией, которую она хранила в кармашке сумки, как талисман.

Мир лежал перед ней, как сложный, но бесконечно увлекательный квест, и она знала – точнее, была уверена с той самой наивной, семнадцатилетней уверенностью, которая потом покажется ей почти болезненной, – что нашла к нему ключ.

Она обожала головоломки. Всегда, сколько себя помнила.

В пять лет она разобрала кубик Рубика, потому что не могла его собрать, и расплакалась – не от того, что сломала, а от того, что внутри не оказалось никакого секрета: просто пружина и пластмассовые кусочки. Мир обманул. Она запомнила это чувство – разочарование от слишком простом ответа.

В семь – часами сидела над шахматными задачами отца. Тот раскладывал позиции на доске и уходил на кухню варить кофе, а когда возвращался, Вера уже двигала фигуры, бормоча себе под нос: «Ладья, нет, слон, нет, конь е-четыре, конь!»

В десять – перечитала всю Агату Кристи из районной библиотеки. Подряд, том за томом. Библиотекарша, Нина Павловна, поначалу радовалась. Потом забеспокоилась. Потом вызвала мать.

– Ваша дочь прочитала двадцать три детектива за два месяца. Она в порядке?

– Она в полном порядке, – ответила мать. – Она просто ищет того, кого ещё не поймали. Это была шутка. Мать потом забыла её. Вера – нет.

Для неё каждый запутанный сюжет, каждая загадка были обещанием разгадки. Торжеством порядка над хаосом. В мире, где взрослые то и дело врали, ссорились и говорили одно, а делали другое, детективная логика была единственной честной территорией. Если есть труп – есть убийца. Если есть улика – есть цепочка. Если есть цепочка – есть конец. И этот конец всегда можно найти. Нужно только смотреть внимательнее, чем все остальные.

И теперь её главным квестом становилась взрослая жизнь, а «Максидром» – одной из первых победных точек.

\* \* \*

Парк, в котором она гуляла с подругами, был через полгорода от «Олимпийского» – на окраине, у кольцевой, с оврагами, заросшими ольхой, и ржавыми качелями, на которых качались только вороны. Парк-пустырь, через который она обычно срезала до метро.

Солнце пекло. Она расстегнула верхнюю пуговицу джинсовой рубашки и ускорила шаг, срезая через парк к станции.

В спешке она чуть не прошла мимо.

Её взгляд – цепкий, привыкший замечать детали, тот самый взгляд, который вылавливал нестыковки в романах Кристи и логические дыры в школьных сочинениях одноклассников, – случайно скользнул по склону оврага и зацепился за что-то неестественно белое. «Пакет, наверное», – мелькнула первая мысль.

Она уже сделала шаг в сторону тропинки. Ноги несли вперёд, к метро, к фестивалю, к грохоту и толпе. «Какой-то мусор». Но нога замерла в воздухе. Буквально – зависла над землёй, словно кто-то нажал паузу.

Что-то было не так.

Слишком правильная форма. Слишком... знакомая. Не мешковатая бесформенность полиэтилена, а очертание. Изгиб. Очертания напоминали согнутые в коленях ноги, складки ткани на бедре, прядь, упавшую на землю.

Сердце ёкнуло – то ли от дурного предчувствия, то ли от раздражения. «Чёрт. Я точно опоздаю». Она посмотрела на часы. Пятнадцать минут до метро, если идти быстро. Десять – если бежать. Она всё ещё могла отвернуться. Поехать дальше. У неё в кармане был билет. У неё были планы. У неё было лето.

Но любопытство оказалось сильнее. То самое любопытство, которое в детстве заставляло её разбирать кубик Рубика. Которое сжирало страницы Кристи одну за другой. Которое высискивало ошибки в условиях шахматных задач.

«Ладно. Одну минуту. Посмотрю и пойду».

Вера свернула с тропинки и начала спускаться по склону. Земля была сухой, рыхлой, под кроссовками хрустели прошлогодние листья. Она цеплялась за корни, торчащие из склона, как жилы.

Спускаясь, ругала себя:

«Идиотка. Вот точно опоздаешь. Найдёшь какую-нибудь пьяную тётку, которая заснула после бутылки портвейна, будешь её тормозить, она на тебя наорёт, а ты пропустишь первые полчаса. Молодец, Вера. Отличный план».

Склон кончился.

Она остановилась.

\* \* \*

И вот она стояла над ней.

Девушка. Молодая – может быть, чуть старше самой Веры, может быть, ровесница. Светлые волосы, разметавшиеся по траве, – не грязные, не спутанные, а странно аккуратные, словно кто-то разложил их веером. Белое платье – лёгкое, летнее, с мелким цветочным рисунком, который Вера почему-то запомнила с фотографической точностью: васильки, крошечные, голубые, на белом фоне.

Лицо – бледное, но не каменное. Скорее спокойное, как у спящей. Если бы не поза. Если бы не угол, под которым была повернута голова. Если бы не то, что грудная клетка не двигалась.

И часы.

На тонком запястье левой руки – маленькие, дешёвые часы с круглым циферблатом и кожаным ремешком. Секундная стрелка двигалась. Тик. Тик. Тик. Ровно, невозмутимо, педантично. Она отсчитывала секунды, прошедшие с момента, когда эта девушка перестала дышать. Десять. Двадцать. Сто. Тысячу. Часы не знали. Часам было всё равно.

Вера стояла и смотрела на эту стрелку. Несколько секунд – или минуту? – она не могла отвести взгляд. Тик. Тик. Тик. Мир вокруг – парк, деревья, далёкий гул города – перестали существовать. Остались только она, мёртвая девушка и секундная стрелка, которая продолжала считать.

Потом включилось тело.

Она развернулась и побежала вверх по склону. Ноги скользили, пальцы перепачкались в земле. Наверху она огляделась – ни одного человека. Парочка на скамейке исчезла. Качели скрипели на ветру.

Телефон-автомат. Серый, с разбитым стеклом будки, с трубкой, висящей на стальном шнуре. Она схватила трубку, нащупала в кармане двухрублёвую монету, опустила в щель. Гудок. Набрала «02».

Три гудка. Четыре.

– Дежурный слушает.

– Там... – Голос сорвался. Она откашлялась. – В овраге, в парке... девушка. Мёртвая. – Она назвала улицу, ориентир – детскую площадку с ржавыми качелями. – Пришлите кого-нибудь.

– Ваше имя?

– Вера. Вера Ларионова.

– Оставайтесь на месте, наряд выедет.

– Я... – она посмотрела в сторону метро. Посмотрела в сторону оврага. – Я не могу остаться.

– Гражданка, вы обязаны...

– Я позвонила. Адрес дала. – Она повесила трубку.

Потом стояла секунду, положив руку на серый пластик аппарата. Рука дрожала. Мелко, противно, как у старухи. Она сжала кулак – и разжала. Сжала – и разжала. Посмотрела на овраг. Бросила взгляд на часы – свои, наручные, с Микки-Маусом на циферблате, подаренные отцом на четырнадцатилетие.

И помчалась к метро.

\* \* \*

Весь город, казалось, сходил с ума в предвкушении грандиозного события. Из открытых окон машин хрипели одни и те же песни – «Алиса», «Агата Кристи», «Мумий Троль». Парни в широких джинсах и девчонки в топиках с блёстками стекались к метро, как ручьи к реке. У входа на станцию толпился народ с пивом и сигаретами, кто-то играл на гитаре «Звезду по имени Солнце», фальшивя в припеве.

Вера протиснулась через турникет, нырнула в духоту подземки. Платформа гудела. Все ехали туда же – к «Олимпийскому». Она стояла в вагоне, прижатая к двери, и чувствовала, как билет в кармане становится влажным от пота. Пальцы на левой руке всё ещё были перепачканы землёй из оврага.

К «Олимпийскому» она добралась, когда первая группа уже заканчивала сет. Огромный зал гудел, как трансформаторная будка. Толпа – тысяча пятнадцать, а может, и больше – колыхалась перед сценой, как единый организм. Басы ударяли в грудную клетку, отскакивали от бетонных стен и возвращались удвоенной волной. Воздух пах потом, пивом, сигаретным дымом и чем-то химически-сладким.

Вера протиснулась в гущу. Её толкали, наступали на ноги, кто-то облил пивом рукав джинсовки. Она не заметила. Гитарные риффы били по ушам, усиленные гулкой акустикой арены. «Алиса» вышла на сцену, и «Олимпийский» взорвался криком – утробным, хриплым, животным. Кинчев в чёрном, с микрофоном у губ, рычал в зал, и тысячи голосов рычали в ответ, а бетонный купол ловил этот рёв и швырял обратно.

Вера стояла в самой гуще, сжимая в кармане джинсов мятый билет. Но сквозь завывание гитар и рёв толпы она слышала другой звук. Тик. Тик. Тик.

Навязчивый, неумолимый, не зависящий от громкости. Тихий – тише шёпота. И оглушительный – громче любого баса. Он шёл не снаружи. Он шёл изнутри – из того места, где минуту назад она стояла над мёртвой девушкой и смотрела на её часы.

Она смотрела на сцену, а видела бледное лицо в траве. Светлые волосы. Васильки на белом платье. Секундную стрелку.

Заиграли «Всё это рок-н-ролл». Вера знала слова наизусть – учила в прошлом году, сидя на подоконнике с кассетником. Она открыла рот, подпевая, и звук собственного голоса показался ей чужим.

«Всё это рок-н-ролл...»

А в голове – другое. Не слова песни. Не ритм. Мысль. Одна. Чёткая. Как заголовок статьи, которую она когда-нибудь напишет: «Кто-то убил её сегодня. Прямо сейчас, пока город жил в предвкушении праздника, кто-то уже поставил точку».

Она оглянулась. Вокруг – лица. Счастливые, пьяные, потные, раскрашенные, искажённые экстазом. Тысячи людей, каждый из которых мог быть кем угодно. Каждый – с руками, которыми можно обнять или задушить. Она смотрела на них и думала: среди вас, может быть, стоит тот, кто час назад был в этом парке. Кто видел, как часы продолжают тикать. Кто знает то, чего не знает никто.

Мысль была абсурдной. Параноидальной. Семнадцатилетней.

И абсолютно точной.

\* \* \*

Она ушла с фестиваля раньше. Не дождалась ни «Мумий Тролля», ни «Агаты Кристи», ни финального джема. Просто в какой-то момент поняла, что не может больше стоять в этой толпе, под бетонным потолком, в гуле, который давил на виски, – потому что тиканье стало громче музыки.

Обратная дорога в метро была другой. Не торопливой, как по пути туда, а медленной, вязкой. Вагон раскачивался, лампы мерцали, попутчики – уставшие, пахнущие фестивалем – дремали или тихо разговаривали. Вера сидела у окна, прижавшись лбом к стеклу, в котором отражалось её собственное лицо, и смотрела в тоннельную темноту.

В кармане джинсов лежал мятый билет.

Она достала его. Посмотрела. Потёрла пальцами бумагу – она стала мягкой от пота и тепла. «Максидром-99. СК "Олимпийский". Входной билет». Цена: 120 руб. С одной стороны – логотип фестиваля, с другой – реклама сигарет.

Она сложила билет пополам и положила обратно.

Двери вагона захлопнулись. Поезд нырнул в темноту. Вера Ларионова ехала домой. Ей было семнадцать лет. В кармане лежал мятый билет, под ногтями – земля из оврага, а в голове – тиканье, которое никак не проходило.

\* \* \*

*23 мая 1999 года. Москва. Поздний вечер.*

Засвистел чайник – тонко, надсадно, как простуженная птица. Свист ввинтился в тишину хрущёвской двушки и повис под потолком, смешавшись с запахом варёного теста, мясного пара и пыли, которую за день нагрело солнце.

Игорь снял чайник с плиты – газовой, с чугунными решётками и рыжими пятнами ржавчины на белой эмали. Горелка выдохнула голубое пламя и погасла. Он плеснул кипятком в две чашки – разномастные, одна с надписью «Привет из Анапы», вторая – толстая, фаянсовая, без ручки.

В пластмассовой миске дымились пельмени, выловленные шумовкой из кастрюли. «Останкинские», из пачки, по три рубля за полкило. Тесто чуть расплзлось, на поверхности бульона блестели масляные круги. Рядом – банка сметаны, горчица, бутылка соевого соуса и пол-огурца на блюде.

Ирина и Игорь сидели друг напротив друга за столом, покрытым клеёнкой – белой, с блёклыми вишнями, прожжённой в двух местах сигаретой. Оба – распаренные, чуть оглохшие, ещё не смывшие с себя налипший дневной жар, гул толпы и отзвуки басов. На Ирине был просторный клетчатый балахон её отца – рукава закатаны, ворот сползает на плечо. Светлые волосы, чуть потемневшие от пота, собраны в небрежный хвост. На Игоре – потрёпанная чёрная майка Nirvana, с жёлтым смайликом, у которого давно стёрся один глаз.

Это была квартира бабушки Игоря. Бабушка третий месяц лежала в больнице – бедро, – и квартира, по негласному семейному договору, перешла во временное пользование внука.

Двушка на Домодедовской: подъезд с вечно разбитым домофоном, лифт, пахнущий кошками, и окна во двор, где по вечерам мужики стучали костяшками домино.

Игорь жил здесь один уже второй месяц. Это было его первое настоящее пространство свободы. Родители – в Подольске, полтора часа на электричке, – и звонили раз в три дня с вопросом «Ты там не спалил ничего?» По стенам коридора висели бабушкины фотографии в рамках: молодёжь пятидесятых, чёрно-белая, улыбающаяся, в белых блузках. Игорь повесил между ними вырезку из журнала Mixmag и постер Prodigy. Бабушка бы не одобрила. Но бабушка была в больнице.

– Дай сюда соевого! – Игорь потянулся через стол за бутылкой, задев локтем стакан с чаем. Чай плеснул на клеёнку – вишни стали ещё более блёклыми.

– Эй, аккуратнее! – Ирина отдернула руку.

– Да ладно, тут всё равно всё убитое, – отмахнулся он, плеснув тёмную жидкость на пельмени. – Бабушка эту клеёнку ещё при Брежневке положила, ей уже ничего не страшно.

Ирина с наслаждением обмакнула пельмень в сметану, размешанную с горчицей – много горчицы, до слёз, как любила. Прищурилась.

– Офигенный же день, да? – выдохнула она, закатывая глаза. – «Алиса»... я просто умерла и вознеслась, когда они «Трассу» заиграли. А когда Кинчев вышел к краю сцены и вот так, – она вытянула руку вперёд, изображая фронтмена, – весь «Олимпийский» просто...

Она не нашла слова. Просто выдохнула и покачала головой.

– Ништяк, – кивнул Игорь, с хрустом откусывая огурец. Сок потёк по подбородку, он вытер тыльной стороной ладони. – От моего драм-н-бейс ты меня, конечно, вряд ли отучишь, но вот это... Кинчев живьём – это другой разговор. Не то что с кассеты.

Он говорил с полным ртом, жестикулируя вилкой, на которой болтался надкусанный пельмень. Они были в своей стихии – в этом ночном уюте, где всё позволено: говорить с полным ртом, класть ноги на стул, курить в форточку и не думать ни о чём, кроме музыки и еды.

– А ты видел того чувака в первом ряду? – Ирина подцепила ещё один пельмень. – Лысый, в косухе, с такой цепью на шее, что ей можно якорь поднимать. Он так орал, что я думала – связки порвёт.

– Видел. Его потом охрана вытащила, он боданул кого-то головой в мош-пите.

– Серьёзно?

– Ну. Прямо при мне. Тот упал, а лысый даже не заметил – орал дальше.

Ирина засмеялась – звонко, запрокинув голову. Смех у неё был такой, какой бывает только в семнадцать лет и только на кухне хрущёвки после хорошего дня: беспричинный, лёгкий, от полноты.

Они дружили с четвёртого класса. Не в том смысле, в каком взрослые говорят «дружили» про мальчика и девочку, подразумевая что-то большее. Нет. Они просто были рядом – давно, привычно, как два тополя, выросших из одной ямы. Соседние дворы, одна школа, одна параллель. Ирина – «А» класс, Игорь – «Б». Она – отличница с тихим голосом и привычкой опускать глаза, когда хвалят. Он – троечник-раздолбай, которого вытягивали её конспекты и его обаяние.

– Представляешь, – Ирина обвела взглядом кухню. Знакомую до каждой трещинки: обои в мелкий цветочек, отклеившиеся в углу; бабушкин сервант с хрусталём, который никто не трогал; календарь на стене за 1997 год, так и не перевёрнутый; батарея под окном, крашенная серебрянкой, на которой сушились Игоревы носки. – Через год в это время мы, возможно, будем... не знаю... в общежитии какого-нибудь вуза?

– Или в армии, – буркнул Игорь.

– Тебя не заберут, у тебя плоскостопие.

– У меня характер. Этого достаточно. – Он фыркнул и отодвинул пустую тарелку. – Сначала экзамены эти долбаные пережить надо. Родители уже мозг вынесли: «Определись с вузом!»

Определись с направлением!» – Он передразнил отца, занизив голос. – А я что определять-то? Что я люблю? Музыка делать. А куда с этим?

– На звукорежиссёра?

– Куда? В ГИТИС? Во ВГИК? Ты видела, сколько туда стоит? – Он загнул пальцы. –

Репетитор, подготовительные курсы, портфолио...

– У тебя есть портфолио. Ты же миксы пишешь.

– Ир, мои миксы – это я в наушниках за компом. Это не портфолио. Это хобби. – Он помолчал. – В консерваторию? Да меня там засмеют. Я ноты читаю через раз.

Он произнёс это легко, почти весело – но Ирина знала его достаточно хорошо, чтобы услышать то, что скрывалось под этой лёгкостью. Страх. Самый обыкновенный, подростковый, тёплый страх перед будущим, которое через год перестанет быть абстракцией и станет конкретным адресом, конкретным расписанием, конкретным утром, когда ты просыпаешься и понимаешь: детство закончилось.

– А я думаю на искусствоведа, – тихо сказала она.

Игорь поднял брови:

– На искусствоведа? Это типа – картины, музеи?

– Типа – понимать, почему одна картина стоит миллион, а другая – ничего. Почему Босх – гений, а не сумасшедший. Почему прерафаэлиты рисовали женщин так, как будто те светятся изнутри.

– Пре-рафа-кто?

– Прерафаэлиты. Художники такие. Викторианская Англия. Они рисовали...

– Ир, – перебил Игорь, поднимая ладони. – Я верю. Я просто слово не выговорю.

Она улыбнулась. Он знал, что когда Ирина начинает говорить об искусстве, её глаза меняются – становятся чуть шире, чуть ярче, – и голос, обычно тихий, набирает ту особую уверенность, которая появляется только тогда, когда человек говорит о том, что любит по-настоящему.

– Да ладно тебе, – Игорь потянулся за сигаретой из мятой пачки «Петра I», лежавшей на подоконнике. – У нас ещё целый год впереди. Самый лучший год. Последнее лето детства, так сказать.

Он произнёс это небрежно, между делом, как говорят вещи, которые не считают важными. Но фраза повисла в воздухе и осталась – как дым от его сигареты, как запах пельменей, как этот вечер.

Последнее лето детства.

Он щёлкнул зажигалкой – тяжёлой, латунной, с выгравированным парусником, – и в полумраке кухни вспыхнуло маленькое пламя, осветив его сосредоточенное лицо. Скуластое, чуть вытянутое, с тёмными глазами, которые в тот момент были добрыми и немного сонными. Затянулся. Выпустил дым в форточку – в тёплый майский воздух, пахнувший тополиными почками и бензином.

Ирина обхватила чашку без ручки двумя ладонями. Чай уже остыл, но она держала, потому что так было уютнее.

За окном двор засыпал. Где-то внизу стукнули костяшки домино – последняя партия. Хлопнула дверь подъезда. Залаяла собака и тут же замолчала. Они сидели за столом – два друга, залитые жёлтым светом тусклой лампочки под потолком. Гора грязной посуды в раковине. Пустая миска из-под пельменей. Горчица, заляпавшая клеёнку. Окурок, дымящийся в жестяной пепельнице из-под печеня.

Вся их жизнь была здесь – в этой кухне. Огромная, неизведанная, ещё умещающаяся в пространстве между газовой плитой и сервантом с хрусталём. Они ели пельмени и строили планы, и всё было ещё возможно.

\* \* \*

*Июнь 1999 года, Москва.*

Актовый зал школы – всё тот же, но преображённый. Воздушные шары, ленты из серпантина, запах дешёвых духов и подросткового пота. Девочки в вечерних платьях, мальчики в костюмах – неловкие, счастливые, чуть пьяные от лимонада и собственной взрослости.

Леонид стоял у стены. В тёмном костюме, без галстука. Белая рубашка застёгнута на все пуговицы. Он наблюдал. Директор – грузный мужчина с бородой и голосом, привыкшим к четвертному плану, – стоял за трибуной и зачитывал имена.

– ...Гущин Леонид – золотая медаль!

Аплодисменты. Леонид поднялся на сцену, принял медаль, пожал директору руку. Потом повернулся к залу. Он не улыбался.

– Благодарю вас, – сказал он. Голос ровный, без волнения. Как зачитывают параграф из учебника. – И, пользуясь случаем, хочу проинформировать.

Зал притих. Кто-то из учителей склонился к коллеге, ожидая благодарственной речи.

– С сегодняшнего дня для всех, включая близких, я – Виктор. Леонид остался в прошлом.

Тишина. Не неловкая – ошеломлённая. Та разновидность тишины, которая возникает, когда люди не понимают, что только что произошло, и не знают, как на это реагировать. Кто-то нервно хихикнул и тут же замолчал. Мария Андреевна прикрыла рот ладонью. Павел Сергеевич сложил руки на груди и чуть прищурился – единственный в зале, кто не был удивлён.

В третьем ряду, чуть левее прохода, сидела Елена Викторовна. Прямая спина, скрещённые на коленях руки. Её лицо не выражало ничего. Ни шока, ни гнева, ни гордости. Она смотрела на сына тем же холодным, оценивающим взглядом, каким когда-то смотрела на разобранный будильник.

Леонид – нет, Виктор – встретил её взгляд. И не отвёл.

Это был акт творения. Публичный, необратимый. Он не попросил. Не предложил. Он проинформировал. Как ставят штамп на документе. Как объявляют приговор. Как нажимают пальцем на главную пружину механизма.

Он сошёл со сцены, держа медаль в левой руке. Правая была свободна.

Лёня умер.

Виктор родился.

\* \* \*

*Двумя днями позже.*

Воздух в квартире был густым и неподвижным, как в запечатанной банке. Летнее солнце, пробиваясь сквозь выверенно вымытое стекло, выхватывало из полумрака пылинки – они медленно кружились в луче, словно последние свидетельства хаоса, за которым велось неусыпное наблюдение. Даже пыль здесь вела себя прилично – не оседала на поверхности, а просто парила, не решаясь приземлиться.

Виктор стоял у порога.

Рюкзак – чёрный, новый, без единого значка – стоял у его ног. Рядом – чемодан-тележка, тёмно-серый, с кодовым замком. Внутри – только необходимое: одежда, ноутбук, два учебника по информатике и конверт с документами. Ничего лишнего. Ни одной вещи «на память». Он ехал не из дома. Он выходил из системы.

Елена Викторовна двигалась по комнате беззвучно, как тень. Её домашние тапочки – войлочные, серые, купленные в «Хозтоварах» на Ленинском, – не издавали ни звука. Пальцы провели по корешку книги на полке, проверяя, не нарушил ли кто-то установленный порядок. Глаза, тяжёлые и оценивающие, скользнули по Виктору, задержавшись на мелочах: едва заметная складка на рубашке, прядь волос, лёгшая чуть левее, чем вчера.

– Документы, – её голос разрезал тишину, как скальпель. Не вопрос – констатация. Протокол. – Билет. Виза. Страховка. Всё на месте?

– Да. – Он не добавил «мам». Он давно перестал добавлять. – Всё на месте.

– Покажи.

Он мог бы сказать «нет». Мог бы сказать «я проверил три раза». Но это было бы нарушением ритуала, а ритуалы в этом доме не нарушались. Он расстегнул боковой карман рюкзака и достал прозрачную папку на молнии. Паспорт – заграничный, бордовый, с двуглавым орлом. Авиабилет – Москва – Бостон, «Аэрофлот», рейс SU-315, место 24F, у окна. Виза – F-1, студенческая, вклеенная в паспорт двумя неделями ранее в посольстве на Новинском бульваре. Справка о зачислении на латинице: Massachusetts Institute of Technology.

Елена Викторовна взяла папку, раскрыла, проверила каждый документ – не содержание, а состояние: не помялся ли уголок, нет ли пятна, не сместилась ли справка. Закрыла. Вернула. Кивнула – одним коротким движением, как ставят печать.

Потом она приблизилась. Её пальцы – длинные, сухие, с отточенным маникюром – нашли то, что искали: крошечную торчащую нитку на рукаве его рубашки. Белую, почти невидимую. Но «почти» в этом доме не существовало.

Елена Викторовна защемила нитку между большим и указательным пальцем и щелчком оборвала. Подержала между пальцами, рассматривая, – как энтомолог, поймавший насекомое. Потом посмотрела на Виктора.

– Неаккуратно, Леонид.

Она произнесла имя так, будто это было диагнозом. Не «Лёня». Не «сынок». Леонид – полная форма, официальная, та самая, которой он когда-то добивался. Но в её устах даже полное имя звучало как уменьшительное.

– Там, на Западе, по таким мелочам будут судить. – Она опустила руку. – Не о тебе. Обо мне. Помни это.

«Обо мне». Не «о нашей семье». Не «о нас». Обо мне. Он был продолжением – функцией, расширением, дополнительным модулем. Его успех был её успехом. Его провал был бы её провалом. Его самого в этом уравнении не существовало.

– Я помню, – сказал он. Ровно, без выражения. Эти два слова были его щитом и мантрой – универсальным ответом на всё, что она говорила. Они не означали согласия. Они означали: я слышу и не трачу силы на возражение.

Елена Викторовна повернулась к окну. Солнечный свет лежал на её лице, бледном и ровном, как фарфор. Она смотрела на двор – или на своё отражение в стекле, – и когда заговорила снова, голос стал чуть тише. Не мягче – тише. Как будто то, что она говорила, было только для них двоих. Хотя в квартире больше никого не было. Отец уехал на работу в семь утра. Или ушёл. Или просто растворился, как всегда.

– И имя... – её губы тронула тень чего-то, отдалённо похожего на улыбку. – Леонид. Оставь его здесь. Вместе со всем этим.

Её рука медленно очертила в воздухе контур – квартиры, коридора, кухни, пианино, фарфоровых статуэток, бежевых обоев. Его детства. Её работы.

– Твоя слабость. Твои ошибки. Раз уж взял себе имя Виктор – оправдай его.

И тут в нём что-то щёлкнуло. Не метафорически – он физически почувствовал, как внутри, где-то за рёбрами, сдвинулся механизм. Шестерня, долго бывшая не на своём месте, наконец встала в паз. Та самая главная пружина будильника «Слава», которую он когда-то зажимал пальцем – только теперь он не останавливал время, а запускал его.

Он поднял голову и посмотрел на мать. Не как сын на мать. Не как ученик на учителя. Как одна сила – на другую. Равная – на равную. Нет. Превосходящая – на бывшую.

В его глазах, обычно пустых и ровных, как отполированная поверхность, вспыхнул холодный, безжалостный свет.

– Я не просто оправдаю, – произнёс он, и в его голосе впервые зазвучала сталь. – Я превзойду. Всех. И тебя в том числе.

Елена Викторовна замерла. Её пальцы, только что державшие нитку, чуть сжались – но лицо осталось неподвижным. На нём не было ни гнева, ни обиды, ни шока. Лишь холодное, почти профессиональное удовлетворение. Так выглядит хирург, сделавший сложный разрез точно по намеченной линии: работа выполнена, результат соответствует ожиданиям. Даже если пациент больше никогда не вернётся.

Она отвернулась к окну, к своему отражению в стекле.

– Самолёт не будет ждать.

Он повернулся, подхватил рюкзак одной рукой, выкатил чемодан другой. Дверь закрылась за ним с тихим, финальным щелчком. Тем самым щелчком, с которым закрывается замок – или отщёлкивается пружина.

Он даже не оглянулся.

Елена Викторовна стояла у окна. Через минуту внизу, во дворе, появилась его фигура – прямая, тёмная, с чемоданом на колёсиках. Он шёл к дороге, не оборачиваясь, не замедляя шаг. Она смотрела, пока он не свернул за угол дома.

Потом её пальцы привычно нашли фарфоровую пастушку на стеллаже. Повернули на два миллиметра вправо. Поставили обратно. Ритуал продолжался.

\* \* \*

Тем временем, через полгорода, в прокуренном кабинете на третьем этаже районного ОВД, капитан Родионов закурил четвёртую за час. Кабинет был маленьким – шесть квадратов, считая подоконник. Стол был завален бумагами, пепельница из обрезанной пивной банки. На стене – график дежурств, криво приколотый кнопкой, и выцветший плакат «Милиция – на страже закона».

Родионов был невысоким, плотным мужчиной сорока трёх лет, с лицом, которое несло на себе отпечаток десятилетий в органах. Мешки под глазами, никотиновая желтизна на указательном и среднем пальцах правой руки, щетина, которую он брил через день, потому что каждый день – это для прокуроров.

Он носил мятый пиджак поверх водолазки и ботинки, которые чистил только перед совещаниями у начальства.

Перед ним лежала папка. Бежевая, казённая. На обложке – номер дела, дата возбуждения, статья. Синяя ручка, убористый почерк: «Соколова А.В., 1978 г.р.»

Алёна Соколова. Двадцать один год. Студентка-художница.

Найдена мёртвой в парке двадцать третьего мая. Та самая, которую обнаружила семнадцатилетняя девчонка, позвонившая с автомата и не дождавшаяся наряда.

Родионов в очередной раз вчитывался в заключение судмедэксперта. Он знал его почти наизусть – читал пятый раз, – но каждый раз надеялся зацепиться за что-нибудь новое. Зацепиться было не за что.

«Смерть гражданки Соколовой А.В., 19.02.1978 г.р., наступила в результате черепно-мозговой травмы, полученной при падении с ударом головой о твёрдый тупой предмет (предположительно – камень). Образование острой эпидуральной гематомы вследствие разрыва средней менингеальной артерии привело к быстрому (в течение 1–2 часов) сдавлению ствола головного мозга и остановке сердечной и дыхательной деятельности. Признаков борьбы и самообороны на теле не обнаружено».

Родионов мрачно хмыкнул. «Эпидуральная гематома...» – прошептал он, постукивая карандашом по столу. Красивый термин. Медицинский. Стерильный. За ним скрывалась простая и жестокая механика: короткий, сильный удар в висок – и часы, отсчитывающие последние минуты жизни. Час. Два. Человек ещё дышит, но мозг уже умирает.

Он отложил заключение и снова пробежался глазами по протоколу осмотра места происшествия. Овраг на склоне парка. Тело обнаружено в 17:40, гражданкой Ларионовой В.А., 1982 г.р.

«Ларионова», – Родионов помнил: звонок с автомата, девчонка-подросток, голос срывается. «Мёртвая», – сказала. Не «лежит», не «без сознания». Сразу – «мёртвая». Или показало. Или она точно знала.

При осмотре: белое летнее платье с цветочным рисунком, часы наручные на левом запястье (исправны, время на момент обнаружения – 17:40). Сумка – в нескольких метрах от тела, содержимое: кисти (3 шт.), набор акварельных красок «Ленинград», блокнот для эскизов, кошелек (42 рубля, студенческий билет МГАХИ им. Сурикова), ключи, помада.

Разбросанные кисти. Грязь на коленях платья. Ссадина на правой ладони – характерная для падения на вытянутую руку. И – ничего. Абсолютно ничего, что указывало бы на вторую сторону. Ни царапин от чужих ногтей, ни следов чужой обуви на влажном грунте, ни обрывков чужой ткани. Ни одного волоса, кроме её собственного. Чисто. Стерильно. Как в музее.

Родионов мысленно построил картину. Девочка шла через парк. Спустилась к оврагу – рисовать? Там хороший вид, старые дубы, свет красивый. Скользкий грунт после дождя – последний дождь был девятнадцатого. Неловкий шаг, нога поехала, руки вперед – отсюда ссадина на ладони, – и виском о камень. Тот серый, бугристый булыжник, который лежал в тридцати сантиметрах от головы. На камне – кровь, совпадение ДНК подтверждено.

Несчастный случай.

Идиотский, нелепый, один на миллион, но – случай.

Он затаился. Выпустил дым. Посмотрел на фотографию из дела: девушка, светлые волосы, лучистая улыбка. Студенческий билет. Глаза – живые, ясные, немного наивные.

Двадцать один год.

Родионов потёр переносицу. «Ну и что ты хочешь? – спросил он себя. – Что ты ищешь? Ни улики, ни мотива, ни подозреваемого. ЧМТ при падении. Грунт – скользкий. Камень – на месте. Сумка с красками – за три метра, выпала при падении. Всё складывается. Всё сходится. Ну и?»

Ну и ничего.

Он с силой загасил сигарету в банке. Пепел рассыпался по бумагам. Он смахнул его ладонью – небрежно, не как Елена Викторовна. Живым, раздражённым жестом усталого человека. Захлопнул папку. Сунул в стопку на подоконнике, между кактусами и чайником.

«Закрывать. Хватит копать. Несчастный случай – и всё тут».

Мысленно поставил точку. Папка лежала на подоконнике, среди кактусов, и ждала. Она умела ждать. Дела всегда умеют ждать дольше, чем люди.

\* \* \*

*31 декабря 1999 года. Москва.*

Планета в эту ночь была заряжена электричеством. Не праздничным – истерическим. Казалось, сама ось времени скрипит под тяжестью сменяющихся цифр. Весь год телевизор рассказывал про «Проблему-2000»: компьютеры сойдут с ума, самолёты упадут, ядерные реакторы встанут. Никто толком не верил, но все немного нервничали. И в разных точках земного шара разные люди встречали эту ночь так, как будто от неё действительно что-то зависело.

Москва. Красная площадь. 23:50.

Москва была одним большим нервным узлом. По Красной площади катилась людская лава – густая, шумная, пьяная от шампанского и собственной истории. Тысячи людей, набившихся между ГУМом и Мавзолеем, топтались в каше из снега, конфетти и пролитого «Советского». Дыхание превращалось в белые облачка и тут же растворялось в общем мареве. Пахло порохом – кто-то уже запускал ракеты, – жжёным бенгальским огнём и мандаринами.

В этой толпе, затерянные, как два камешка в реке, стояли Ирина и Игорь.

На Ирине – пуховик, из которого она выросла ещё в прошлом году (молния не застёгивалась до конца, и она замотала горло отцовским шарфом), шапка, съехавшая на глаза, и варежки – детские, связанные бабушкой, с вышитыми снежинками. Ей было холодно. Ей было чудесно.

Игорь – в кожаной куртке поверх двух свитеров, без шапки (принципиально, «шапки – для цивиллов»), с красными от мороза ушами и бутылкой «Советского шампанского» в руке. Бутылку они купили в палатке у ГУМа за сорок рублей. Продавщица – толстая тётка в меховом капюшоне – сказала:

– Вы же несовершеннолетние?

– Нет, – ответил Игорь с такой уверенностью, что тётка усмехнулась и продала.

Им было по семнадцать. До совершеннолетия – полгода. До экзаменов – пять месяцев. До конца школы – столько же. Но сегодня всё это не имело значения. Сегодня менялись не числа в календаре – менялось тысячелетие. И они были здесь, в самом центре, в самую секунду.

– Смотри! Куранты! Почти! – крикнул Игорь, приподнимаясь на цыпочки.

Спасская башня стояла над толпой – тёмная, подсвеченная прожекторами, с рубиновой звездой и огромным циферблатом, на котором минутная стрелка подползала к двенадцати. Золотые цифры. Чёрные стрелки. Тик. Тик. Тик.

– Я боюсь! – Ирина схватила его за руку. Варежка на варежку. – Кажется, сейчас действительно что-то случится!

Её голос был полон счастья. В глазах, поднятых к башням Кремля, отражались вспышки первых фейерверков – кто-то не выдержал и запустил раньше. Для неё это была не простая смена дат. Это была магия. Настоящая, без оговорок. Начало новой жизни. Она чувствовала себя песчинкой в истории – и это чувство было пьянящим, как шампанское, которое они ещё не открыли.

– Десять! – заорала толпа.

– Девять!

– Восемь!

Игорь поднял бутылку, прижал горлышко ладонью.

– Семь!

– Шесть!

Ирина зажмурилась. Открыла глаза.

– Пять!

– Четыре!

Рука Игоря сжала её варежку крепче.

– Три!

– Два!

– Один!!!

Раздался бой курантов. Двенадцать ударов, тяжёлых, медных, отдающихся в грудной клетке. Толпа взревела. Заиграл гимн – новый, ещё непривычный, без слов, только мелодия Александрова. Тысячи голосов подхватили его – фальшиво, гордо, со слезами, которых никто не стеснялся.

Пробка от шампанского выстрелила в небо. Пена хлынула на руки, на куртки, на снег. Игорь, не слыша себя, орал «Ура!» и смеялся, и шампанское текло по пальцам, а фейерверки распускались над Кремлём – красные, зелёные, золотые, – и каждый взрыв отражался в тысячах глаз.

Он подхватил Ирину на руки – легко, она весила, казалось, ничего в своём пуховике, – и закружил. Она визжала, колотила его по плечу варежкой:

– Поставь! Поставь, идиот! Уронишь!

Он не уронил. Поставил. Они смотрели друг на друга – покрасневшиеся, мокрые от шампанского, с горящими глазами. И в этот момент – не думая, не решая, не выбирая – он наклонился и поцеловал её.

Коротко. В губы. Легко, как ставят точку в конце предложения.

Ирина замерла. На секунду. Потом улыбнулась – и этой улыбкой хватило бы, чтобы растопить весь снег на Красной площади.

– С Новым годом, Ир, – сказал он.

– С Новым годом, – ответила она. И не убрала руку.

Их дыхание превращалось в облачка пара в ледяном воздухе. Вокруг них рушились старые миры и рождались новые, а они были просто двумя детьми в эпицентре безумия, и им этого было достаточно.

\* \* \*

*Кембридж, Массачусетс. MIT. 15:50 по местному времени.*

Здесь до Нового года оставалось ещё восемь часов.

Виктор стоял у окна своей комнаты в общежитии Baker House – четвёртый этаж, окно на Чарльз-ривер. Комната была маленькой, стандартной: кровать, стол, шкаф, раковина. Его сосед – Дэвид из Огайо, долговязый парень с привычкой стучать карандашом по столу, – уехал к родителям на каникулы. Виктор отказался от приглашения. Дэвид не удивился. К пятому месяцу совместного проживания он уже перестал удивляться.

Комната была стерильной. Не в том казённом смысле, в каком бывают чистыми комнаты общежития, – в них всегда остаётся след жильца: плакат, фотография, кружка. У Виктора не было ни плаката, ни фотографии. Кружка – одна, серая, вымытая, перевернутая на полотенце. Книги на полке – по высоте корешков. Провода ноутбука – свёрнуты и закреплены зажимом. Кровать заправлена так, что покрывало можно было бы использовать как чертёжную доску.

Он смотрел на тёмные силуэты Бостона за рекой, усыпанные холодными огнями. В правой руке – пластиковый стакан с минеральной водой. Pellegrino, из автомата в холле. Никакого алкоголя. Алкоголь – это химический хаос, потеря контроля над поведенческими реакциями. Неприемлемо.

В наушниках – маленьких, проводных, с поролоновыми подушечками – тихо звучала онлайн-трансляция «Радио России». Шум московской толпы, голос ведущего, помехи. Виктор слушал не слова – он слушал паттерн. Нарастающее возбуждение. Крики. Взрывы. Коллективная истерия, сжатая в звуковой файл и доставленная через океан по коммутируемому интернету.

«...С Новым годом, Россия! С новым тысячелетием!» – прохрипел диктор в наушниках. Виктор посмотрел на экран ноутбука. Часы в правом нижнем углу показывали 16:00. В Москве сейчас полночь: целуются, плачут, кричат. Стадный инстинкт, помноженный на потребность в ритуале. Сто пятьдесят миллионов людей синхронно испытывают эмоцию, которую они не выбирали, – она навязана датой в календаре. Социальное программирование в чистом виде.

Он поднял стакан. Сделал глоток воды. Поставил стакан обратно – ровно на то место, где он стоял, на кольцо конденсата на столе. Никакого тоста. Никакого «С Новым годом». Просто глоток.

В наушниках толпа орала «Ура!», фейерверки взрывались с характерным «пф-ф-ф-БУМ», и голос диктора дрожал от волнения. Виктор слушал. Анализировал. Скулы неподвижны. Глаза – сухие и ясные.

Потом он снял наушники. Аккуратно смотал провод. Положил на стол.

В комнате стало тихо. Только ровный гул ноутбука и шорох вентиляции. Только далёкий звук автомобиля на мосту через Чарльз-ривер. Через несколько часов здесь тоже будет Новый год. Студенты в холле внизу уже готовились: оттуда доносились приглушённые голоса, смех, пластиковый хруст упаковки чипсов. Виктора не пригласили. Вернее – пригласили в сентябре. Он ответил «Thank you, I'll consider it», и с тех пор его не приглашали.

В полночь он сел за стол. Открыл терминал. Зелёные буквы на чёрном фоне. Ввёл команду. Экран мигнул и вывел строку: System date: 01/01/2000. No errors detected.

«Проблема-2000» не наступила. Самолёты не упали. Ядерные реакторы не взорвались. Компьютеры не сошли с ума. Мир продолжил работать. Виктор закрыл терминал и открыл текстовый файл. Без имени. Без расширения. Он вёл его с сентября – ежедневные записи, короткие, сухие, похожие на логи сервера:

«01.01.2000.

Наблюдение: коллективная реакция на смену числового значения года.

Предсказуемость: 98%.

Отклонения: 2%

(Дэвид уехал на день раньше, чем планировал – отмена рейса 29-го).

Эмоциональный фон кампуса: повышенный.

Мой: стабильный.

Задача на Q1-2000: курс Distributed Systems; начать прототип поведенческого движка.

Статус: штатно».

Он сохранил файл. Закрыл крышку ноутбука.

Встал. Подошёл к окну. Бостон за рекой мерцал, как материнская плата, – тысячи огней, каждый на своём месте, каждый выполняет свою функцию. Красивый город. Логичный.

Старый мир с его сентиментальностью и хаосом остался там – за океаном, в шуме московской толпы, в бое курантов, в облачках пара от чужого дыхания.

Виктор пил воду и смотрел на огни.

\* \* \*

*Июль 2000 года. Москва.*

Жизнь Игоря разделилась на два ритма, и между ними не было перехода – только щелчок, как при переключении канала.

Первый ритм – дневной. Руль служебной «Волги», чёрной, с трещиной на лобовом стекле, заклеенной скотчем. Запах кождама, прогретого июльским солнцем, и ёлочки-ароматизатора «Сосна», которая давно перестала пахнуть сосной и пахла просто химией. Игорь возил начальников среднего звена из конторы «Мосстройснаб» – мужиков в мятых пиджаках, с мобильниками-кирпичами и разговорами о прибылях, откатах, поставках. Он молча слушал, глядя в зеркало заднего вида, и отстукивал по баранке ритм – бочка, хай-хет, малый, бочка. Руки, помнящие гриф гитары, ложились на пластик руля, как на что-то чужое.

– Эй, Игорёк, на Профсоюзную давай, – говорил кто-нибудь с заднего сиденья. – И не гони, я тут по телефону.

– Понял, – отвечал Игорь. И не гнал.

Ему было восемнадцать. Он не поступил. Экзамены, которые казались такими далёкими на той кухне с пельменями, оказались ближе, чем он думал, – и сложнее. В ГИТИС он не прошёл по конкурсу, во ВГИК – по творческому испытанию. Отец, узнав результаты, произнёс единственную фразу:

– Ну, значит, работать. Я в твои годы уже зарабатывал.

И Игорь стал зарабатывать. Через родительского знакомого устроился водителем. Зарплата – не большая, плюс бензин, плюс иногда чаевые, если начальник был в настроении. Денег хватало на сигареты, пиво и взнос за аренду репетиционной точки.

Репетиционная точка – это второй ритм. Ночной.

\* \* \*

Гараж на задворках Нагатинской промзоны. Бетонный бокс, четыре на шесть, с низким потолком, влажными стенами и лампочкой-переноской, которая раскачивалась от вибрации басов. Здесь пахло сыростью, машинным маслом и мечтой.

Группа называлась «Хронос». Название придумал Игорь, потому что «время – единственное, чего нельзя вернуть». Остальные согласились, потому что звучало серьёзно.

Состав: Игорь – вокал и ритм-гитара. Лёха – бас (работал грузчиком на Черкизовском, пальцы – как сосиски, но басовые партии держал). Дэн – соло-гитара (студент МИФИ, играл лучше всех, но приходил через раз). Серый – барабаны (самоучка, разведённый мужик двадцати семи лет с пивным животом и золотым сердцем).

Репетировали три раза в неделю, с девяти вечера до часа ночи, когда соседний гараж начинал стучать по стене монтировкой. Звук был громким, нестройным и абсолютно честным.

– Опять ты вступаешь не вовремя! – орал Серый из-за барабанов, вытирая пот со лба рукавом.

– Это вы не чувствуете ритм! – парировал Игорь, перехватывая медиатор. – Я вступаю на слабую долю!

– Какую, нахрен, слабую долю? Ты на полтакта раньше влез! – Серый ударил палочкой по хай-хэту с такой силой, что тарелка загудела.

– Ладно, ладно. – Игорь поднял руки. – Давай сначала. С куплета.

В душе он сомневался. Он вообще часто сомневался, но никогда – вслух. Потому что если сомневается фронтмен, тогда всё – тогда это не группа, а кружок по интересам.

Он был солнцем этой маленькой вселенной – харизматичным, но не очень умелым. На выступлениях – а их было штук восемь за полгода, в подвальных клубах на полсотни человек, где входной стоил тридцать рублей и включал стакан разбавленного пива, – он отдавался музыке целиком. Зажмуривался, хватал микрофон обеими руками, кричал хриплым голосом, вкладывая в каждый такт всю свою нерастратченную нежность и всю накопившуюся злость. На что злость? На экзамены. На отца. На баранку «Волги». На то, что ему восемнадцать и он уже чувствует себя проигравшим.

Аплодисменты были редкими, но жгуче желанными. Десять-двадцать человек хлопали, кто-то свистел, один раз девчонка в мохнатой шубке крикнула «Красавчик!» – и Игорь светился потом весь вечер.

После концертов они сидели в подсобке или на крыльце, пили «Балтику-тройку» из банок, разбирали каждый проваленный брейк и строили планы покорения «Москвы» – той, настоящей, с концертными залами, афишами и контрактами. «Москва» была для них мифической вершиной, как Эверест – видно, но не дойти.

– Нам бы демо записать нормальное, – говорил Лёха, сминая банку.

– На что? – спрашивал Серый.

– Подкопим.

Молчание. Потом кто-нибудь закуривал, и разговор переключался на другое.

\* \* \*

Между работой и репетициями Игорь заезжал за Ириной.

Останавливал «Волгу» у её подъезда – панельная девятиэтажка на Каширской, – и сигналил. Один короткий, два длинных. Их код с детства.

Она выскакивала через три минуты. Лёгкое платье, сумка через плечо, волосы распущены – светлые, чуть выющиеся на концах от жары. Садилась на переднее сиденье, хлопала дверцей (она всегда хлопала слишком сильно, и пластик бардачка отзывался дребезжанием), и на мгновение заполняла собой весь салон – запахом цветочных духов, шорохом ткани, улыбкой.

В эти моменты он забывал и о фальшивых нотах, и о скучной работе, и о том, что отец считает его неудачником. Он не думал об этом словами – он просто чувствовал, что мир встаёт на место. Что руль – это нормально, если рядом она.

\* \* \*

Её жизнь была полна другого воздуха – пыльного и торжественного, пахнущего старыми книгами и лаком рам.

Ирина поступила на искусствоведение в РГГУ – не в МГУ, как мечтала, но тоже хорошо. Конкурс – четыре человека на место. На лекциях слушала о гармонии, перспективе, вечных канонов красоты. О Рафаэле и Тициане, о Ренессансе и Барокко, о том, как свет падает на мрамор и как тень создаёт объём. Её тетради были похожи на будущие каталоги выставок: чистые, выверенные, красивые.

Но по вечерам каноны рушились.

Ночные клубы – «Бункер», «Китайский лётчик», «Запасник» – были для неё другим видом искусства. Спонтанным, диким, телесным. Здесь не было золотого сечения и перспективы Альберти. Здесь был стробоскоп, бас, пот, и тела,двигающиеся по законам, которых ни один искусствовед ещё не описал.

Ирина не танцевала отчаянно, как другие – те, кто бросался в толпу, как в реку. Она двигалась легко, осторожно, словно боялась разрушить хрупкую атмосферу вокруг себя. Её светлые волосы были маяком в полумраке, а глаза, широко раскрытые, впитывали всё: мерцание стробоскопов, искажённые гримасы в толпе, силуэт диджея за пультом, одинокую фигуру Игоря у бара – он стоял, облокотившись, с пивом в руке, и смотрел на неё.

Он всегда смотрел на неё.

Их тусовка была пёстрой и тёплой. Человек двадцать – плюс-минус, в зависимости от дня недели и зарплаты. Кто-то учился, как Ирина. Кто-то уже работал – продавцом, курьером, помощником бухгалтера. Кто-то, как Игорь, пытался «сделать это в искусстве». Марина – художница, рисовала портреты на Арбате за сто рублей и мечтала о персональной выставке. Костя – поэт, печатался в самиздатовском журнале, который читали двадцать человек. Юля – фотограф, снимала на плёночный «Зенит» и проявляла в ванной.

Они собирались в чьих-то квартирах – чаще у Игоря, в бабушкиной двушке на Домодедовской, – говорили до утра о любви, о будущем, о том, почему Тарковский гений, а Бекмамбетов – нет, курили на балконе, слушали «Radiohead» и «Мумий Троль», пили дешёвое вино и чувствовали себя бессмертными.

Правило было одно – быть честным. Не врать. Не притворяться. Не изображать из себя того, кем не являешься. Это было негласно, но абсолютно – как закон гравитации.

Иногда, глядя на Игоря, который с жаром доказывал Косте, что «OK Computer» – лучший альбом десятилетия, размахивая сигаретой и роняя пепел на ковёр, Ирина ловила себя на мысли: вот он. Настоящий. Непричёсанный, вспыльчивый, иногда нелепый, иногда невыносимый. Но – настоящий. Без оболочки. Без маски.

Он был полной противоположностью тому стерильному, выверенному миру, который ей показывали на парах по истории искусств. Мир канонов был красив, но холоден. Игорь был хаотичен, но тёпл. И в этом была его прелесть.

Она не произносила этого вслух. Она просто садилась рядом, прижималась плечом к плечу, и слушала, как он спорит – горячо, громко, неправильно, – и ей было хорошо.

\* \* \*

*Весна 2001 года. Кембридж, Массачусетс.*

Учёба в MIT была для Виктора тем, чем загрузка новых библиотек является для операционной системы: расширением функционала. Не удовольствием, не испытанием, не приключением – процессом. Курсы по алгоритмам, дискретной математике, архитектуре вычислительных систем, теории распределённых сетей. Он проглатывал их не потому, что было интересно, а потому, что каждый был инструментом, который в будущем пригодится.

Профессора его замечали. Не за яркость – он не задавал вопросов, не спорил, не блистал на семинарах. Его замечали за точность. Домашние работы, сданные ровно в срок, без единой ошибки, без единого лишнего слова. Код – чистый, документированный, минималистичный. Одна из профессором, Дженнифер Уолш с кафедры распределённых систем, однажды напи-

сала на полях его работы: «Elegant, but cold.» Виктор прочитал. Не согласился и не возразил. Элегантность была комплиментом. Cold – констатацией факта.

Его курсовой проект по Software Engineering назывался «Life Grid».

Формально – симулятор управления виртуальными домохозяйствами. Милые домики, персонажи с базовыми потребностями: голод, сон, социализация, развлечения. Игрок мог строить отношения между «жильцами», назначать им работу, создавать условия для счастья. На первый взгляд – безобидная игра.

Но у Life Grid была изнанка, и эта изнанка была сутью.

Виктор заложил в движок систему «управляемой деградации». Игрок мог изолировать одного жильца – отрезать его от социальных контактов, лишить развлечений, оставив только базовые потребности: еду и сон. И наблюдать. Показатели «жильца» начинали медленно падать: сначала «настроение», потом «здоровье», потом «воля».

Персонаж переставал убирать дом, начинал подолгу стоять у окна, терял цвет – буквально, палитра его спрайта тускнела. А потом он «исчезал» – тихо, без драматической анимации, просто переставал быть. И его домик освобождался для новой, более перспективной единицы.

Куратор проекта, профессор Абельсон, на защите спросил:

– Виктор, зачем механика изоляции? Это же игра про community building.

– Это игра про resource management, – ответил Виктор. – Не все ресурсы стоят инвестиций.

Абельсон помолчал. Поставил «А». Но в рекомендательном письме написал: «Technically brilliant. Ethically concerning.» Виктор прочитал. Улыбнулся – первый раз за семестр.

\* \* \*

Тогда же он открыл для себя покер.

Сначала это было развлечением – если слово «развлечение» вообще применимо к человеку, который не испытывал скуки. Скорее – экспериментом. Университетский покерный клуб: комната в подвале студенческого центра, длинный стол под зелёным сукном, лампа на цепи, запах попкорна и дешёвого кофе. Человек десять-двенадцать – студенты, аспиранты и один преподаватель с кафедры экономики.

В первый вечер Виктор проиграл сорок долларов. Во второй – двадцать. В третий – вышел в ноль. В четвёртый – начал выигрывать. И больше не останавливался.

Он довольно быстро понял, что математическая вероятность – лишь основа. Фундамент, на котором стоит здание, но не само здание. Куда важнее – психология соперника. Не карты решают – решает человек, держащий карты. Его дыхание. Его пальцы. Его привычка чесать бровь, когда блефует. Его микропауза перед рейзом, когда карта хорошая.

Виктор не играл на удачу. Он играл на данных.

Он завёл тетрадь – блокнот Moleskine, чёрный, карманный, тот самый формат, в который Хемингуэй записывал заметки в парижских кафе. Только Виктор записывал не сюжеты, а людей. По каждому оппоненту – страница. Имя (или кличка). Стиль игры (тайтовый, лузовый, агрессивный, пассивный). Теллы – произвольные сигналы: Марк трогает фишку перед блефом, Дженна откидывается на стуле, когда уверена, Алекс начинает говорить быстрее, когда нервничает.

И главное – «тильт». Момент потери контроля. У каждого человека есть точка, в которой рациональность отключается и включается эмоция. Страх, жадность, обида, азарт – не важно, что именно. Важно, что в этот момент человек перестаёт принимать решения и начинает реагировать. Становится предсказуемым. Становится уязвимым.

Виктор научился находить эту точку и безжалостно её использовать.

Через год он перешёл из студенческого клуба в подполье Бостона. Не казино – те были легальны и сучны. Подпольные клубы: задние комнаты ресторанов в Чайна-тауне, квартиры

в Бэк-Бэй, подвал бара в Саут-Энде. Здесь играли профессора, биржевые маклеры, юристы с тяжёлыми случаями зависимости и богатые бездельники, которым не хватало адреналина.

Ставки – другие. Сотни. Иногда тысячи. Виктор не волновался. Волнение – это тильт, а тильта у него не было. Он сидел за столом с лицом, ровным как экран выключенного монитора, и считывал.

Здесь он отточил мастерство манипуляции до уровня хирургической операции. Он научился считывать мельчайшие детали мимики, выдававшие блеф: расширение зрачков на долю миллиметра, микронапряжение жевательной мышцы, чуть изменившийся ритм дыхания. А сам – идеально изображал эмоции, которых не чувствовал. Мог сыграть сомнение, разочарование, азарт, облегчение. Как актёр, у которого нет души, но есть безупречная техника.

Он стал акулой.

\* \* \*

Однажды – февральским вечером, в задней комнате итальянского ресторана на Ганновер-стрит, – он сыграл руку, которая стала легендой.

На руках: двойка пик и семёрка бубен. Разномастные. Мусор. Карты, которые любой учебник по покеру велит немедленно сбросить.

Виктор не сбросил. Он рейзнул на префлопе. Потом – ва-банк.

Стол замер. Четверо игроков – каждый с опытом в десятки тысяч раздач – смотрели на двадцатилетнего русского парня, который только что пошёл all-in с позиции, не предполагающей силы.

Виктор смотрел не на карты. Он смотрел на людей.

Первый – Маркус, бухгалтер из Бруклайна. Только что получил хорошую, но не отличную руку: пара дам или что-то близкое. Его правое веко чуть дрогнуло – Маркус всегда так делал, когда взвешивал риск. Он сбросит. Он аккуратный игрок, не любит конфронтации.

Второй – Тони, владелец автомастерской. Непроизвольная ухмылка – левый угол рта вверх на два миллиметра. Он уверен, что у него сильная рука. Но ва-банк – это слишком. Тони поднимет ставку, чтобы прощупать, а когда поймёт, что Виктор не отступает, – сбросит. Тони хочет выиграть, но не хочет проиграть всё.

Третий – мистер Чен. Идеальный покерфейс. Морщинистое лицо, неподвижное как маска Но. Но дыхание. Чуть – на долю секунды – участилось. Мистер Чен держит хорошую руку. Может быть, очень хорошую. Но он не уверен, что она лучше всех за столом. А неуверенность для мистера Чена – это яд. Он слишком умён, чтобы играть на эмоции.

Расчёт оправдался.

Маркус сбросил первым. Молча, аккуратно, положив карты рубашкой вверх. Тони – вторым. С ухмылкой, как будто это была его идея: «Не сегодня, пацан». Мистер Чен – последним. После долгой, тяжёлой паузы, во время которой его пальцы чуть побелели на фишках. Положил карты. Кивнул.

Виктор собрал банк – две тысячи триста долларов – и сгрёб фишки в ровную стопку. Карты остались лежать рубашкой вверх. Тони не выдержал:

– Чёрт возьми, что у тебя было? Туз-король?

Виктор встал. Надел куртку. Посмотрел на Тони – ровным, безэмоциональным взглядом.

– Информация, – ответил он. И вышел.

\* \* \*

Он не получал удовольствия от азарта. Азарт – это химия, дофамин, петля подкрепления. Он испытывал удовлетворение от подтверждения гипотезы. Каждая выигранная рука была не победой над соперником, а доказательством теоремы: людьми можно управлять, если знать их алгоритмы.

Выигрыши он не тратил на роскошь. Не покупал дорогую одежду, не ходил в рестораны, не ездил в отпуск. Деньги лежали на счёте в Bank of America – аккуратной, растущей цифрой.

Ресурс для будущих проектов. Каких именно – он пока не формулировал. Но знал, что они будут.

Вне учёбы и покера его жизнь была столь же спланированной и одинокой. Комната в Baker House: кровать, стол, компьютер – мощный, собранный по частям, с двумя мониторами. На полках – книги по когнитивистике, нейробиологии и теории игр. Канеман, Тверски, фон Нейман, Моргенштерн. Ни одного романа. Ни одного сборника стихов. Художественная литература – это чужие фантазии, упакованные в текст. Зачем потреблять фантазии, если можно потреблять данные?

Его единственным «хобби» – если это слово вообще применимо – были наблюдательные вылазки. Он ходил в людные места – Гарвард-сквер, Фанейл-Холл, набережная, кафе на Массачусетс-авеню – и сидел. Час. Два. С блокнотом или без. И наблюдал. Пары, которые ссорятся. Матери, которые кричат на детей. Студенты, которые смеются, не зная, что их смех – рефлекторная реакция на социальное давление группы. Он изучал поведенческие паттерны, как орнитолог изучает миграцию птиц: терпеливо, без эмпатии, с научным интересом.

Иногда – редко – кто-нибудь садился рядом и заговаривал. Девушка в кафе, парень на лавочке, сосед в столовой. Виктор отвечал вежливо. Точно. Правильно. И разговор заканчивался через три-четыре минуты, потому что собеседник чувствовал: что-то не так. Не грубость. Не холодность. Что-то другое. Как будто за вежливыми словами нет человека. Как будто разговаривает программа, которая выверено имитирует диалог, но не понимает, зачем он нужен.

Виктор замечал этот момент – момент, когда собеседник отстранялся. Записывал в блокнот: «Средняя продолжительность контакта до обнаружения дискомфорта: 3 мин 40 сек. Необходимо доработать паттерн "заинтересованность"».

Он доработает. Позже. Когда это станет необходимым.

\* \* \*

*Осень 2001 года. Москва.*

Квартирник. Кому-то из друзей – кажется, Костиному приятелю по литинституту – родители оставили квартиру на неделю. Трёхкомнатная, на Бауманской, с высокими потолками, паркетом, который скрипел под каждым шагом, и балконом, выходящим во двор-колодец. Квартира тут же превратилась в площадку для трёхдневного марафона музыки, вина и разговоров до рассвета.

К третьему дню квартира выглядела как поле боя: пепельницы на каждой горизонтальной поверхности, пустые бутылки выстроились на подоконнике в ряд (кто-то начал было строить из них башню, но она рухнула в два часа ночи), на кухне в раковине – гора тарелок, залитых засохшим кетчупом. В коридоре спал чей-то знакомый, которого никто не знал по имени, но все называли «Философ», потому что он в первый вечер два часа рассуждал о Кьеркегоре, а потом уснул в ботинках и больше не просыпался.

Ира полулежала на потёртом ковре, прислонившись спиной к дивану, на котором дремала Юля, свернувшись калачиком и натянув на себя чью-то джинсовку. Рядом – Марина, которая рисовала карандашом в блокноте чей-то профиль, не глядя на бумагу. Костя сидел в кресле, читал вслух свои стихи – тихо, самому себе, проверяя ритм.

Игорь только что отыграл на акустике новую, ещё сырую балладу. Гитару он одолжил у хозяина квартиры – свою не взял, потому что приехал на «Волге» после работы и не успел заскочить домой. Чужая гитара была расстроена, с нейлоновыми струнами вместо стальных, и звук был мягкий, ватный, совсем не такой, как он задумывал. Но слова были его – написанные на прошлой неделе, ночью, на обрывке квитанции, когда он ждал начальника у подъезда с работающим двигателем.

Баллада была о дороге. О том, что ты едешь и не знаешь куда. О фонарях, которые освещают только те десять метров перед капотом. О том, что темнота впереди – это не страх, а обещание.

В комнате раздались аплодисменты – негромкие, чуть вымученные, потому что было четыре утра и все уже устали хлопать. Но Ира хлопала искренне. Она всегда хлопала искренне, когда это был Игорь.

Он положил гитару на пол, потянулся за стаканом – красное вино, дешёвое, «Монастырская изба», три бутылки по сорок рублей. Отпил. Вытер губы ладонью.

И в этот момент, в полумраке, при тусклом свете гирлянды и настольной лампы, завернутой в красный шарф (Маринина идея – «для атмосферы»), его пальцы, обхватившие стакан, вдруг поймали луч света. И что-то блеснуло.

– Постой, – Ира приподнялась и взяла его за руку. – Это что у тебя?

На безымянном пальце левой руки тускло поблёскивал массивный перстень-печатка. Неброский, тёмного, почти чёрного металла – не серебро, не золото, что-то тяжёлое, матовое, с крупной, выпуклой литерой «И», выгравированной в готическом стиле.

Игорь попытался отдернуть руку, но Ира уже удерживала его ладонь в своих. Её пальцы – тёплые, с облупившимся лаком на ногтях – обхватили его запястье.

– Да так, безделушка, – он отвёл взгляд, внезапно заинтересовавшись узором на ковре. Персидский рисунок. Очень интересный. Завиток, ещё завиток.

– Какая безделушка? Ты никогда не носил колец. – Ирина провела подушечкой пальца по холодному металлу. Буква «И» была выпуклой, с острыми засечками. – «И». Игорь. Красиво. Подарок?

Его уши стали алыми. Не розовыми – алыми, как стоп-сигнал. Он был человеком-открытой книгой: каждая эмоция проступала на его лице мгновенно, без задержки, без фильтра. И сейчас все страницы этой книги кричали о смущении – крупным шрифтом, с восклицательными знаками.

– Ну... в общем, да. – Он попытался сделать беззаботное лицо, но получилась гримаса, как у человека, которому наступили на ногу и который пытается это скрыть. – Первая буква имени, все дела. Просто понравился.

– Кому «понравился»? – не отступала Ира, вылавливая его взгляд. Он увиливал – влево, вправо, на потолок, на гитару – куда угодно, только не в её глаза. Её веселила его внезапная скованность. – Тайная поклонница из офиса? Девушка из «Хроноса»? Признавайся!

Она говорила шутливо, с улыбкой, подёргивая его за руку, – но в голосе проскользнуло что-то ещё. Лёгкая, почти неосознанная ревность. Они были не парой – формально. Они были «лучшими друзьями» – и это определение, удобное и безопасное, устраивало обоих уже два года. Но между ними витало нечто большее. Нечто, не имеющее названия. И любое вторжение извне – любая «тайная поклонница», любое кольцо на чужом пальце – было потенциальной угрозой этому неназванному.

– Да нет же, никого! – Игорь выдернул руку и судорожно начал крутить перстень на пальце, словно пытаясь его спрятать. Или снять. Или провалиться сквозь пол. – Я... сам купил. Для образа. Ну, знаешь – рок-н-ролл, все дела. Солидно же, правда?

Это была откровенная ложь, и они оба это понимали. Он не умел лгать. Ложь заливала его лицо краской, заставляла смотреть в пол и говорить голосом на полтона выше обычного. Игорь – человек, который жил по правилу «быть честным», – врал прямо сейчас, открыто, неуклюже, как ребёнок, пойманный с вареньем.

Ира смотрела на него. Улыбка оставалась на губах, но из глаз ушла. Там появилось что-то другое – не обида, не злость, а лёгкое недоумение. Какая-то мелкая, но упрямая заноза засела в её восприятии этого простого и ясного парня. Почему он так нервничает из-за кольца? Что он скрывает? Вопрос не был конкретным – она не додумывала, не строила версий. Просто впервые почувствовала: в Игоре есть комната, в которую её не пускают.

– Ладно, храни свою тайну, – наконец смилостивилась она, откидываясь на ковёр и глядя в потолок. Лепнина. Трещина от люстры к окну. – Выглядит... стильно.

– Стильно? – переспросил Игорь с таким облегчением в голосе, словно ему только что вынесли оправдательный приговор. – Ну вот! Я же говорю!

Он улыбнулся – широко, благодарно, – и потянулся за гитарой, чтобы сыграть что-нибудь ещё. Что-нибудь громкое. Что-нибудь, что заполнит паузу. Но напряжение из плеч не ушло. И позже, когда все наконец задремали – Юлия на диване, Марина на полу, Костя в кресле с раскрытой книгой на груди, Философ в коридоре, – Игорь остался сидеть у окна. Один. Луна лежала на паркете белым прямоугольником. Он смотрел на перстень.

Крутил его на пальце. Медленно. Туда-обратно.

Литера «И» жгла кожу. Это была не его буква. Вернее – не только его. Это была буква его тихой, постыдной – так ему казалось – слабости, не вязавшейся с образом бунтаря-рокера, с кожаной курткой, с хриплым вокалом, с парнем, который не носит шапку, потому что «шапки – для цивиллов». Его маленький секрет, в котором он боялся признаться даже самому себе. Не то чтобы не мог сформулировать – мог. Но формулировка делала бы это реальным. А реальное – страшнее.

Ира спала в трёх метрах от него. Дышала ровно. Светлые волосы разметались по ковру. Игорь смотрел на неё. Потом – на перстень. Потом – снова на неё.

В ту ночь он впервые почувствовал, как трещит его собственный, такой простой и понятный мир. И трещина была в форме простой буквы «И». Он ведь не для себя его заказал. Не для «образа». Не для рок-н-ролла. Он заказал его, потому что хотел, чтобы она спросила. Именно так – чтобы заметила, взяла его руку, провела пальцем по гравировке и спросила: «Что это значит?» И тогда – в этот единственный, невозможный момент – он бы сказал. Тихо. Глядя в пол. «И – Ирина.»

Она спросила. А он сказал: «Для образа».

Запихнул единственный честный поступок в жизни обратно в карман, как мятый билет. И улыбнулся. Широко, благодарно. Как трус.

\* \* \*

*Весна 2002 года. Бостон.*

Частный покерный клуб на Ганновер-стрит – тот самый, где полгода назад он забрал банк с двойкой и семёркой. С тех пор многое изменилось. Виктора знали. Его не любили, но приглашали – потому что он поднимал ставки, а ставки поднимали адреналин, а адреналин – единственная причина, по которой взрослые мужчины с деньгами садятся друг напротив друга в задней комнате итальянского ресторана каждую пятницу.

Глубокий вечер. Сигарный дым слоился под низким потолком. Пахло дорогим парфюмом, свечным воском и тем особым напряжением, которое возникает, когда за столом сидят люди, готовые потерять месячную зарплату за один вечер.

Шестеро игроков. Зелёное сукно. Фишки – керамические, тяжёлые, не казённый пластик. Дилер – Фрэнк, толстый мужик с татуировкой на запястье, молчаливый и точный, как часовой механизм.

Виктор сидел на четвёртой позиции. Неподвижный. Поза расслабленная, но собранная – как у хищника, которому не нужно суетиться перед прыжком. Он не двигал фишки, не переключивал карты, не пил. стакан воды стоял слева, нетронутый. Перед ним – самая высокая стопка за столом.

Он не выигрывал крупных банков. Не блефовал с риском. Он методично, по капле, выжимал из каждого оппонента его ресурсы – как эффективная программа, оптимизированная для максимального извлечения при минимальных затратах. Маленькие победы, одна за другой, незаметные, как капли, подтачивающие камень.

Его главный оппонент в эту ночь – Лука Моретти. Бруклинец итальянского происхождения, двадцать восемь лет, широкоплечий, с чёрными волосами, зачёсанными назад, с шикарными часами Breitling на запястье и взрывным темпераментом, который он считал частью

своего обаяния. Лука владел автомастерской в Норт-Энде – или, по крайней мере, числился владельцем. Деньги у него водились, но откуда – никто не спрашивал.

Лука уже проиграл в этот вечер около трёх тысяч. Его стопка фишек съёжилась до жалкой горки. Он злился. Он видел в Викторе то, что видели все: холодного, высокомерного выскочку, мальчишку из MIT, который играет не как мужик, а как машина. И это бесило.

На столе лежали общие карты: король бубён, десятка пик, валет треф, четвёрка червей. У Виктора в руке – пара тузов. Сильная, но не выверенная комбинация. Он видел по ставкам Луки, по тому, как тот облизнул нижнюю губу на флопе (телл номер три в блокноте: «Моретти Л. – увлажнение губ при наличии незавершённой комбинации»), что у Луки, скорее всего, стрит-дро или флеш-дро. Нужна одна карта, чтобы закрыть. Ривер ещё впереди.

Статистика говорила: шансы в пользу Виктора, примерно семьдесят к тридцати.

Но Виктору было мало статистики. Сегодня он хотел другого.

– Ставлю пятьсот, – сказал Виктор. Голос ровный, как стрелка осциллографа.

Лука посмотрел на свои фишки. Посчитал. У него оставалось чуть больше семисот.

– Твои все, профессор, – проворчал он, бросив взгляд на свою скромную стопку. «Профессор» – так он называл Виктора с первого вечера. Не ласково.

Виктор не посмотрел на фишки. Его взгляд – плоский, тяжёлый, как свинцовая пластина – был прикован к Луке.

– Фишки – это скучно, – произнёс он. – Давай сыграем на что-то стоящее.

– О чём ты? – Лука фыркнул, откинувшись на стуле. – У тебя есть яхта?

– У тебя есть сестра.

Пауза. Короткая. Как перед ударом грома.

– Мария, если я не ошибаюсь. Студентка Бостонского колледжа. Второй курс. Специализация – романские языки.

В воздухе повисла тишина. Не просто тишина – гробовая, ватная, как в комнате без окон. Все за столом замерли. Фрэнк перестал тасовать. Пожилой бизнесмен опустил сигару. Мистер Чен, сидевший слева, чуть наклонил голову – единственный признак того, что он вообще заметил.

Это было нарушение всех правил. Неписанных, но абсолютных. В покере можно блефовать, обманывать, унижать. Но семья – за чертой. Всегда.

Лука медленно поднялся. Стул отъехал назад с противным скрежетом по плитке. Его лицо побагровело – от шеи вверх, как ртуть в градуснике.

– Что ты сказал, ублюдок?

Виктор не встал. Не отодвинулся. Не моргнул.

– Я предлагаю ставку. Я ставлю все свои фишки – всё, что на столе. Каждый цент. Ты ставишь один телефонный звонок. Если выигрываешь ты – забираешь всё. Мою стопку, свои потери – всё обнуляется. Если выигрываю я – ты звонишь ей. Прямо сейчас. При всех. И говоришь ей, что ты проиграл её в покер. Что она теперь принадлежит мне.

Он произнёс это с ледяной, почти научной дистанцией. Так произносят условия лабораторного эксперимента. Это не было угрозой. Не было оскорблением. Не было даже провокацией в обычном смысле. Это был тест. Стресс-тест человеческой психики – на давление, на границы морали, на чувство собственности.

Лука стоял, сжимая и разжимая кулаки. Костяшки побелели. Глаза выдали шквал: ярость, унижение, отвращение, страх. И что-то ещё – мелькнувшее на дне зрачков, как рыба в мутной воде. Любопытство? Азарт, вывернутый наизнанку? Желание узнать, чем кончится?

– Ты сумасшедший, – прошипел он.

Но не ушёл.

– Я предлагаю тебе испытать настоящую потерю контроля, – продолжил Виктор. Голос не изменился. Ни на полтона. – Не над деньгами – деньги ты заработаешь. Над тем, что, как

ты думаешь, принадлежит тебе по праву. По крови. По рождению. Это интереснее, чем пластиковые фишки.

Пауза. Тяжёлая. Долгая.

– Колл или фолд, Лука.

Он не блефовал. В его глазах была абсолютная, пугающая уверенность. Не азарт, не адреналин – холодная, механическая готовность довести эксперимент до конца. Вне зависимости от результата. Потому что результат – в любом случае – был бы данными.

Лука смотрел на него. Три секунды. Пять. Десять. Его дыхание было тяжёлым, хриплым. Потом он резко, со злостью, швырнул карты на стол. Они проехали по сукну и упали на пол.

– Фолд! – Голос сорвался на визг. – Забери свои грёбанные деньги, психопат!

Он развернулся и почти побежал к выходу, роняя стул, задев плечом дверной косяк. Дверь хлопнула. С потолка посыпалась штукатурка.

\* \* \*

Виктор медленно собрал банк. Аккуратно, фишка к фишке, стопка к стопке. Никто за столом не смотрел на него. Все делали вид, что изучают свои карты. Или стаканы. Или стену. Атмосфера была отравлена – как воздух после химического выброса: дышать можно, но не хочется.

Пожилой бизнесмен – Гарольд, владелец сети прачечных, игрок со стажем в тридцать лет, – покачал седой головой.

– Парень, так не играют. Это просто игра.

Виктор повернул к нему лицо. Бесстрастное. Ровное. Как экран монитора, на котором ничего не запущено.

– Для вас – игра. Для меня – исследование. Я только что собрал данные о ценности родственных связей в ситуации экзистенциального стресса. Его отказ от игры при наличии математически выгодной ставки – это доказательство того, что эмоциональные связи перевешивают рациональный расчёт. Его фолд стоил дороже, чем все фишки на этом столе.

Гарольд смотрел на него. Долго. Потом произнёс:

– У тебя что-то не в порядке с головой, сынок.

Виктор не ответил. Он встал, аккуратно сложил фишки в кожаный кейс – чёрный, с защёлками, купленный на покерные деньги, – и направился к выходу. Не попрощался. Не кивнул. Просто вышел.

На улице было прохладно. Апрельский бостонский воздух – влажный, солоноватый, с привкусом океана. Ганновер-стрит была пуста, фонари светили жёлтым, с окон второго этажа ресторана доносилась приглушённая итальянская музыка.

Виктор остановился. Достал блокнот. Чёрный Moleskine. Открыл на чистой странице. Записал:

«12.04.2002.

Полевой эксперимент №7.

Субъект: Моретти Л., 28 лет, м.

Стимул: угроза контролю над родственной связью (сестра).

Реакция: отказ от рационально выгодной ставки. Время принятия решения: ~12 сек. Физиологические маркеры: тремор рук, учащённое дыхание, покраснение кожи.

Гипотеза подтверждена: контроль над социальными связями субъекта является более эффективным рычагом давления, чем прямой финансовый ущерб.

Статус: требует дальнейшей проверки в полевых условиях».

Он закрыл блокнот. Убрал в карман. Постоял ещё секунду, глядя на пустую улицу. Где-то далеко, за домами, гудел порт. Потом пошёл к метро. Ровным, размеренным шагом. Один. Как всегда.

\* \* \*

*Осень 2002 года. Москва.*

Промозглый осенний вечер впивался в город иглами холодного дождя. Не ливень – мелкая, злая морось, которая пробирается под воротник и в душу одновременно. Фонари на Рублёвском шоссе стояли в ореолах водяной пыли, размывая мир до акварели.

Игорь ждал у подъезда. Жилой комплекс «Золотые ключи» – один из первых элитных, закрытых, с охраной на въезде и камерами, которые смотрели на тебя так, словно заранее знали, что ты тут чужой. Мраморный вестибюль за стеклянными дверями, фикусы в кадках, консьерж в пиджаке. Игорь внутрь не заходил. Водители ждали на улице, как собаки у магазина.

Он сидел в машине – теперь это была не «Волга», а чёрный «Мерседес» W210, трёхлетний, с кожаным салоном и запахом полироли. Игорь перешёл на новую работу три месяца назад: из «Мосстройснаба» – в персональные водители. Платили вдвое больше, плюс бензин, плюс «на обеды», что означало ещё тысячу наличными в конверте. Другой уровень. Другая клетка.

Он смотрел, как струи дождя заливают лобовое стекло, превращая огни фонарей в расплывчатые жёлтые пятна. На заднем сиденье лежала его гитара – он начал возить её с собой, потому что между поездками иногда выпадало полчаса, когда можно было перебирать струны на парковке, тихо, сквозь зубы напевая. «Хронос» ещё существовал, но репетиции стали реже: Дэн защитил диплом и уехал в Петербург, Серый нашёл вторую работу – охранником в «Ашане». Остались Игорь, Лёха и гитара в машине.

Наконец дверь подъезда открылась.

Алина Дмитриевна вышла быстро, как всегда, – даже не вышла, а появилась. Высокая, сорок два года, тёмные волосы, убранные в низкий пучок, лицо – красивое, жёсткое, из тех лиц, которые не портит время, а оттачивает. Её каблук – острые, тонкие, сантиметров десять – отбивали по мокрому асфальту чёткий, почти военный ритм. Плащ – бежевый, Burberry, настоящий, не палёнка с Черкизовского, – развевался за ней, как знамя.

Она была учредителем рекламного агентства. Одного из первых в Москве, появившихся в девяностых и выживших. Клиенты – банки, сотовые операторы, импортёры алкоголя. Деньги. Власть. Расписание, расчерченное по минутам.

Алина Дмитриевна села на заднее сиденье, молча сунув ему в руки свой портфель из мягкой коричневой кожи. Тяжёлый, набитый бумагами и ежедневником. В салоне повис густой запах её духов – сандал, жасмин и что-то ещё, цитрусовое, острое, – смешанный с запахом влажной шерсти и холодного воздуха.

– На Тверскую, – сказала она, не посмотрев на него. – И не по Кутузовскому, там встанем.

– Понял, – ответил Игорь. И тронулся.

Он уже переключил вторую передачу, когда она вскрикнула. Негромко, но с той самой нотой леденящей паники, которая бывает, когда в идеально отлаженном механизме ломается крошечная, но жизненно важная деталь.

– Нет! Чёрт!

Игорь рефлекторно ударил по тормозам. Машина дёрнулась.

– Что случилось?

Она не ответила. Она смотрела на своё колено. На идеально гладкой, телесной поверхности дорогих колготок – тех самых, тонких, десять ден, которые стоили столько, сколько Игорь тратил на обеды за неделю, – зияла безобразная зацепка. Маленькая дорожка поехавших петель, расплывающаяся от колена к бедру. Побег хаоса, ворвавшийся в её стерильный мир.

– Игорь, немедленно остановитесь у того магазина! – Её голос стал низким и резким, как удар хлыста. Не просьба. Приказ. Без «пожалуйста», без паузы, без взгляда.

Он послушно притормозил у освещённой витрины – круглосуточный «Стокманн», жёлтый свет, манекены в пальто за стеклом. Она даже не взглянула на витрину.

– Выйдите. Мне нужно переодеться. Ждите снаружи.

Он вышел.

Дождь тут же затёк за воротник кожаной куртки – холодный, мерзкий, как жидкий упрёк. Он сгорбился. Руки в карманы. Встал спиной к машине, как было велено. И стоял.

Через запотевшее стекло он видел её смутный, искажённый силуэт. Она двигалась на заднем сиденье – быстро, деловито, без той женственной грации, которую он подспудно ожидал. Но мозг – предательский, неуправляемый мозг, который не подчинялся ни логике, ни стыду, – дорисовывал. Как она снимает туфли на шпильке. Как её длинные пальцы скользят под резинку колготок. Как ткань – тончайшая, почти невесомая – сползает по её ноге.

Он зажмурился. Потом открыл глаза. Потом снова зажмурился.

Его сердце бешено колотилось – от унижения, от холода и от этого запретного, стыдного видения, которое было одновременно и пыткой, и наградой. Он стоял под дождём, как побитый пёс, и ненавидел себя за то, что чувствовал. За то, что его тело реагировало на женщину, которая видела в нём функцию. Рычаг переключения маршрутов. Приложение к «Мерседесу».

Через три минуты она открыла окно – ровно настолько, чтобы просунуть руку – и сунула ему маленький свёрток. Упаковку от новых колготок, смятую в тугую, влажный комок. Бумага с логотипом дорогого бренда – Wolford? Falke? – он не разглядел.

– Выбросите это. И быстро, мы опаздываем.

Он забрался обратно в машину. Мокрый. Продрогший. С каплями дождя на ресницах. В салоне теперь пахло только её духами и едва уловимым, новым, химически-чистым запахом свежего нейлона. Он тронулся с места и повёз её на встречу, чувствуя, как свёрток в кармане куртки жжёт бок – как краденая вещь, как вещественное доказательство его собственной ничтожности.

Он не выбросил свёрток.

\* \* \*

Позже, оставшись один в машине на подземной парковке у её офиса, он заглушил двигатель.

Тишина. Только гул вентиляции и далёкий стук капель с верхнего яруса.

Он достал свёрток из кармана. Развернул. Медленно, аккуратно, как будто внутри – что-то хрупкое. Бумага зашуршала. Внутри – смятые колготки, тонкие, телесные, с зацепкой у колена. Он провёл подушечками пальцев по шелковистой ткани. По зацепке – маленькой дорожке разрушения, которая и стала причиной всего. Почувствовал – или вообразил – остаточное тепло. Её тепло. Изгиб. Форму.

Это было всё, что он мог себе позволить. Не обладание, не страсть – жалкий, украденный сувенир от человека, который даже не подозревал о его существовании как мужчины. Для неё он был «Игорь» – безликий, без фамилии, без истории. Функция. «Остановитесь». «Выйдите». «Выбросите».

Он сидел в темноте парковки, держа в руках чужое бельё, и чувствовал себя самым жалким человеком на земле. Потом аккуратно свернул свёрток и положил в бардачок. Под документы на машину, под страховку, под руководство пользователя. Туда, где никто не будет искать.

\* \* \*

Ночью, в бабушкиной квартире на Домодедовской, он сидел за компьютером.

Комната была залита тусклым синим светом монитора. Бабушкины фотографии в рамках на стенах. Постер Prodigy. Пепельница, полная окурков. Чай в кружке «Привет из Анапы», давно остывший.

На экране – виртуальный покерный стол. Зелёное сукно, разноцветные аватары, мигающие ставки. Его аватар – парень в солнцезащитных очках и с сигарой – выглядел куда увереннее, чем он сам.

На покер Игорь подсел случайно – Лёха показал. «Можно играть на реальные бабки, прикинь?» – сказал Лёха, и Игорь попробовал. Не ради денег – ради ощущения. Ради того, чтобы хоть где-то чувствовать контроль.

Рядом с клавиатурой, на заляпанном чаем столе, лежал тот самый смятый комок – упаковка с логотипом. Иногда, между раздачами, его пальцы сами тянулись к нему: провести по шершавой снаружи и гладкой изнутри бумаге.

В покере он был другим. Здесь он мог блефовать, идти ва-банк, чувствовать себя хозяином ситуации. Здесь он решал – колл, фолд, рейз. Здесь его голос не был голосом шофёра. Здесь он хоть на что-то влиял.

Одна рука управляла мышью, делая ставки, другая – бессознательно вертела в пальцах упаковку. Жалкий трофей. Символ его собственной неспособности быть тем, кем он хотел: сильным, уверенным, достойным. Мужчиной, на которого обращают внимание.

На экране пришла сильная комбинация – бубновый флеш, от десятки до туза. Он пошёл олл-ин. Соперники сбросили. Банк – триста двадцать долларов виртуальных фишек.

Цифры на счёте выросли. Зелёная стрелочка вверх.

Игорь откинулся на стуле. Стул скрипнул. За окном – двор, тёмный, молчаливый. Ни домино, ни голосов.

Его взгляд упал на свёрток.

Эйфория от выигрыша – мелкая, мимолётная, виртуальная – испарилась мгновенно, как пар от дыхания в холодном воздухе. Сменилась горьким, тягучим осадком. Никакой виртуальный банк, никакие зелёные стрелочки не могли заткнуть ту дыру, которую оставляло после себя унижение под холодным осенним дождём.

Он снова был просто Игорем. Мокрым, замёрзшим водителем, воруящим крохи чужого тепла. Перстень с «И» тускло блеснул на безымянном пальце, когда он потянулся за чаем.

\* \* \*

*Июль 2003 года. Москва.*

Виктор ступил на залитый солнцем асфальт Шереметьево-2, и первое, что он почувствовал, – запах. Горячий битум, керосин, пыльная трава за забором лётного поля. Русский запах. Четыре года без него – и вот он снова, густой, навязчивый, как воспоминание, от которого невозможно отмахнуться.

Он шёл через зал прилёта, толкая перед собой тележку с тем же тёмно-серым чемоданом на колёсиках – только теперь внутри, кроме вещей, лежал диплом МПТ, красный конверт с отличием (GPA 3.94), три рекомендательных письма и подписанный контракт. Никто его не встречал. Он и не ждал.

Возвращался он не просто с дипломом. Он возвращался с холодной уверенностью избранности – отточенной, закалённой, проверенной четырьмя годами блестящих оценок, покерных столов и полевых экспериментов. Западные студии засыпали его предложениями ещё на последнем курсе: Electronic Arts, Valve, Blizzard. Собеседования по телефону, письма с шестизначными цифрами, приглашения в Сиэтл и Лос-Анджелес.

Он отказал всем.

Вместо этого он выбрал контракт с «Primal Interactive» – на тот момент главной надеждой российского геймдева. Маленькая, злая, амбициозная студия, знаменитая своими глубокими тактическими стратегиями. Их последняя игра – «Стальные легионы» – продана тиражом в полмиллиона копий и получила восемь из десяти от PC Gamer. Для российской индустрии в 2003 году это было как «Оскар».

Почему Россия? Не ностальгия. Не патриотизм. Расчёт. В Америке он был бы одним из тысячи талантливых разработчиков. Здесь – единственным с дипломом МПТ, покерным кешем в Bank of America и полным отсутствием иллюзий. Рыба в маленьком пруду растёт быстрее.

Его взяли на позицию Lead Gameplay Designer в проект под кодовым названием «Лабиринт Минотавра». Тактическая стратегия с элементами RPG, мифологический сеттинг, амбициозный масштаб. В письме продюсера – Сергея Кравцова, сорокалетнего бородатого мужика, бывшего программиста из Академгородка, – говорилось:

«Нам нужен человек, который сможет разложить вавилонскую прорву механик на простые и элегантные системы. Сделать так, чтобы игрок не ломал голову над интерфейсом, а наслаждался крушением врагов. Зрелище должно быть интуитивным, глубина – скрытой».

Виктор оценил формулировку. Но про себя перевёл её на свой язык: ему предстояло не создавать развлечение, а проектировать зависимость. Петлю подкрепления. Дофаминовый цикл. Заставить игрока возвращаться – не потому что ему нравится, а потому что он не может остановиться.

\* \* \*

Москва 2003-го встретила его какофонией зарвавшегося капитализма.

Он ехал из аэропорта на такси – жёлтая «Волга», водитель слушал «Русское радио», – мимо рекламных щитов. Пухлые губы, продающие помаду. Новые иномарки, продающие мечту. Банки, продающие кредиты. Сотовые операторы, продающие друг друга. Его мозг, настроенный на выявление паттернов, фиксировал лишь один – паттерн примитивных желаний. Секс, статус, безопасность. Три кнопки, на которых работала вся эта рекламная машина. Простая архитектура. Абсолютный фон для его работы.

Москва изменилась за четыре года. Палатки у метро – те самые, с «Роллтоном» и «Сникерсами» – почти исчезли. Вместо них – стеклянные фасады, вывески на английском, кофейни с латте за шестьдесят рублей. Люди одевались иначе, ходили быстрее, смотрели в маленькие экраны мобильных телефонов. Город ускорялся. Город хотел быть Нью-Йорком.

Виктор смотрел в окно и не чувствовал ничего. Ни радости возвращения, ни разочарования. Данные. Просто данные.

\* \* \*

Офис «Primal Interactive» располагался в перестроенном здании бывшего НИИ на Ленинском проспекте. Серая коробка семидесятых – снаружи те же бетонные панели и алюминиевые рамы. Но внутри царил культ «творческого хаоса»: стены в граффити с орками и драконами, горы фигурок на мониторах, доски, исписанные формулами баланса: DPS, HP, mana regen, experience curves.

Для Виктора это был не офис. Это был живой исследовательский стенд. Он увидел не коллег – а набор поведенческих скриптов. Классификация заняла у него три дня, но по сути он определил всё в первые часы.

Первая категория: ветераны-идеалисты. Мужики за тридцать, бородатые, в растянутых свитерах, тоскующие по золотому веку третьих «Героев» и с подозрением смотревшие на любые новые механики. «Вот раньше был геймдизайн, а сейчас...» – фраза, которую Виктор слышал по четыре раза в день. Ценность: опыт. Риск: инерция. Паттерн: сопротивление изменениям.

Вторая: молодые гении. Двадцать – двадцать пять лет, горящие глаза, энергия на пять проектов одновременно и полное отсутствие дисциплины. Код пишут ночью, документацию – никогда, дедлайны воспринимают как оскорбление. Ценность: креативность. Риск: хаотичность.

Третья: менеджеры. Говорили на языке KPI, сроков и «давайте синхронизируемся». Не понимали ни кода, ни геймдизайна, но контролировали бюджет. Ценность: ресурсы. Риск: некомпетентное вмешательство.

Его первым действием стал не мозговой штурм. Не презентация с красивыми слайдами. Не командный ужин с пиццей. Аудит.

Виктор провёл неделю, изучая не столько код и документацию, сколько людей. Он приходил к девяти, уходил в десять вечера. Молча сидел на митингах. Слушал разговоры в курилке. Замечал, кто работает за идею, кто – за деньги, кто – за страх перед увольнением. Кто подвержен панике перед дедлайном. Кто саботирует задачи, которые считает «недостойными». Кто влюблён в кого из коллег и как это влияет на качество кода.

В пятницу он попросил проектор и зарезервировал переговорку.

\* \* \*

Первый отчёт Виктора поверг отдел в ступор.

На экране была схема. Не архитектура игры, не дерево навыков, не карта уровней. Каждый сотрудник отдела геймдизайна – четырнадцать человек – был обозначен как узел в сети. Связи между узлами – линии разной толщины и цвета. У каждого узла – три параметра: «продуктивность» (от 1 до 10), «лояльность» (от 1 до 10) и «инновационный потенциал» (от 1 до 10).

Три узла были выделены красным. «Слабые звенья».

Виктор стоял у экрана, указка в руке – лазерная, красная точка, – и говорил ровным, спокойным голосом. Без эмоций. Без извинений.

– Узел четыре – Дмитрий Селезнёв, старший дизайнер. Продуктивность: три. Лояльность: семь. Потенциал: два. Тратит шестьдесят процентов рабочего времени на споры о том, как было «правильно» в девяносто девятом. Рекомендация: перевод на документирование существующих систем.

– Узел девять – Олег Мартынов, дизайнер уровней. Продуктивность: пять. Лояльность: три. Потенциал: шесть. Демотивирован из-за конфликта с руководителем направления. Рекомендация: перевод в команду прототипирования, где конфликт будет нерелевантен.

– Узел двенадцать...

– Подождите, – Селезнёв встал. Высокий, худой, борода с проседью, свитер с оленями. В студии с первого дня, один из тех, кто писал движок «Стальных легионов». – Вы не можете так просто... Мы – это не «узлы». Это люди, а не процессоры!

Виктор повернул к нему лазерную указку. Красная точка застыла на стене рядом с головой Селезнёва, как прицел.

– В игровом балансе нет места сантиментам, – произнёс он. Голос не изменился. Ни на полтона. – Некомпетентный код тормозит всю систему. Я здесь для того, чтобы игра вышла. В срок. В качестве. Всё остальное – шум.

Пауза. Тяжёлая. Долгая. Селезнёв смотрел на него. Виктор – на Селезнёва. Красная точка не двигалась.

Кравцов – продюсер, бородатый, грузный, в углу переговорки с кружкой кофе – кашлянул. Посмотрел на схему. Посмотрел на Виктора. Посмотрел на Селезнёва.

– Сядь, Дим, – сказал он тихо. – Давайте послушаем.

Селезнёв сел. Но его руки, сжимавшие подлокотники, побелели.

\* \* \*

Его оставили в покое. Не потому что согласились. Потому что результаты пришли раньше, чем возражения набрали силу.

Через месяц его команда – «очищенная от шума», как он выразился на следующем митинге, – показала рекордную скорость прототипирования боевой системы. Скептики были переведены на документацию, молодые гении – получили чёткие дедлайны и трекер задач, менеджеры – отчёты, которые наконец-то могли читать без переводчика.

Боевая система «Лабиринта» работала. Тактическая сетка, пошаговые бои, дерево навыков с ветвлением – всё было чистым, элегантным, затягивающим. Тестеры играли по три часа и не могли остановиться. Не потому что было весело – потому что петля подкрепления работала. «Ещё один бой. Ещё один уровень. Ещё одна ветка». Дофамин. Цикл.

По вечерам, оставаясь один в своём кабинете – маленькая комната в конце коридора, окно на Ленинский проспект, голые стены, никаких фигурок на мониторе, – Виктор смотрел на гаснущие огни Москвы и чувствовал не усталость. Удовлетворение. Глубокое, ровное, как гул сервера, работающего штатно.

Он снова доказал свою теорему.

Жизнь – это код. Люди – это переменные. Эмоции – это баги, которые можно обойти или использовать.

А он – архитектор. Который знает, как заставить этот код работать.

\* \* \*

*19 июля 2003 года. Москва. Суббота.*

В 19:55 Виктор и Марк стояли на пороге квартиры Артёма. Ровно в 19:55 – не раньше, не позже. Это был ритуал, а ритуалы Виктор соблюдал с точностью часового механизма.

Дверь открылась, выпустив волну запаха – старый кофе, акриловые краски, древесная пыль и что-то сладковато-химическое, похожее на клей или растворитель. Марк, стоявший чуть позади, непроизвольно отступил на полшага и поморщился.

– Каждый раз, – тихо произнёс он, обращаясь скорее к самому себе. – Каждый чёртов раз.

– Входите, входите! Не стесняйтесь! – Артём появился в дверях – босой, в майке, перепачканной акриловыми разводами (зелёный, фиолетовый, ядовито-жёлтый), с кистью за ухом и широкой улыбкой. – Я тут немного перед вашим приходом прибрался.

– Прибрался? – Марк заглянул через его плечо в прихожую. На крючке для одежды висел шлем от мотоцикла, пакет из «Перекрёстка» и электрическая гирлянда. На полу – три пары кроссовок, стопка журналов «Мир фантастики» и скейтборд. – Артём, ты чудовище.

– Я – творец! – Артём развёл руками и посторонился, пропуская их внутрь.

Каждую субботу, ровно в двадцать, они собирались за покерным столом. Не за деньгами – ставки были символическими. За ритуалом. За тем единственным форматом общения, который был приемлем для всех троих: структурированная игра с чёткими правилами, внутри которой можно было разговаривать, не разговаривая.

Виктор вошёл и остановился в дверях гостиной. Квартира Артёма была антиподом любого помещения, в котором обитал Виктор. Стеллажи, заваленные книгами – Толкиен, Лем, Гибсон, Лавкрафт, – и макетами: замок из картона, дракон из папье-маше. Расстроенная гитара в углу. Мольберт с чем-то зубастым и многоруким. На полу – архипелаг относительного порядка среди моря бумаг, футболок и пустых чашек.

Марк встал рядом с Виктором. Они молча смотрели на комнату, как два хирурга – на операционное поле, которое никто не стерилизовал.

– Оптимизирую рабочее пространство! – с гордостью объявил Артём, сгребая стопку комиксов с обеденного стола, чтобы освободить место для карт. Комиксы он переложил на стул, со стула они тут же сползли на пол. Артём не заметил.

\* \* \*

Марк Резников. Двадцать шесть лет. Системный архитектор. Мозг, заключённый в плоть, которая его раздражала. Высокий, сухой, с короткой стрижкой и узким лицом, на котором эмоции появлялись редко и задерживались ненадолго – как данные в оперативной памяти. Он носил одинаковые серые рубашки, постиранные по воскресеньям, отглаженные по понедельникам. Его квартира была храмом минимализма: стол, стул, кровать, монитор. Любое отклонение от порядка Марк воспринимал как ошибку, требующую немедленного исправления.

Он говорил рублеными фразами, как компилятор выдаёт логи: точно, сухо, без украшений. Женат не был. Отношений не имел. На вопрос «почему» однажды ответил: «Другой человек в моём пространстве – это постоянный источник непредсказуемого ввода. Я не готов к такому оверхеду».

Виктор его ценил. Не за ум – умных было много. За предсказуемость. Марк был единственным человеком, чьё поведение Виктор мог просчитать с точностью до девяноста восьми процентов. Это было почти успокаивающе.

\* \* \*

Артём Шевцов. Двадцать восемь лет. Сценарист и нарративный дизайнер. Живой хаос, бьющий через край. Коренастый, подвижный, с вечно всклокоченными каштановыми волосами и щетиной, которую он не брил принципиально, а подстригал раз в месяц – криво, перед зеркалом, маникюрными ножницами. Его сознание было генератором идей, работающим без выключателя: он мог начать фразу про игровой квест, перескочить на Юнга, потом на рецепт тайского карри, потом на архетипы в скандинавской мифологии – и всё это за тридцать секунд, не переводя дыхание.

До «Primal» он писал сценарии для рекламных роликов, короткометражных фильмов и одной театральной постановки, которую закрыли после премьеры. Он был талантлив, хаотичен и абсолютно неуправляем – кроме тех случаев, когда ему было по-настоящему интересно. Тогда он мог не спать трое суток и выдать пятьдесят страниц диалогов, от которых тестеры ревели.

Безупречный порядок Виктора и Марка он считал проявлением душевного нездоровья.

– Нет, вы, конечно, гении, – говорил он, тыча кистью в их сторону, – но вы как роботы. Без бардака нет жизни. Без жизни нет искусства. Без искусства – зачем вообще делать игры?

\* \* \*

Виктор провёл пальцем по поверхности стола. На подушечке остался тёмный след.

– Уровень загрязнения превышает санитарную норму примерно на триста процентов, – констатировал он, демонстрируя палец. – Это снижает когнитивные функции.

– Зато стимулирует творчество! – парировал Артём, расстилая зелёное сукно – потёртое, с кофейным пятном в углу, – на расчищенный стол. – Знаешь, что Фрэнсис Бэкон говорил про хаос?

– Бэкон-философ или Бэкон-художник? – уточнил Марк, доставая из рюкзака запечатанную колоду карт. Он всегда приносил свою – не доверял Артёмовским, потому что те были заляпаны гуашью.

– Художник, конечно. Он говорил, что хаос рождает образы. Что из беспорядка появляется форма. Что...

– Он также был законченным алкоголиком, умер в чужой квартире и большую часть жизни провёл в депрессии, – перебил Марк, вскрывая упаковку. – Не лучший авторитет в вопросах организации пространства.

– Но гений! – Артём поднял указательный палец. – Гений, Марк! А гениям можно.

– Гениальность не коррелирует с грязной посудой.

– Ещё как коррелирует!

Виктор молча занял своё место – всегда одно и то же, спиной к стене, лицом к двери. Его отточенная рубашка – светло-голубая, без единой складки – была диссонансом в этом пространстве. Он не выражал ни отвращения, ни одобрения. Он сканировал обстановку. Его взгляд задержался на новом рисунке на мольберте – эскизе существа с неестественно вывернутыми суставами, длинными, когтистыми конечностями и пустыми глазницами, из которых сочилось что-то тёмное.

– Интересная биомеханика, – прокомментировал он. – Но анатомически нестабильная. Сустав не может вращаться на двести семьдесят градусов без разрыва связок. Если мы это используем в «Лабиринте», игрок с медицинским образованием заметит.

– Виктор, – Артём повернулся к нему с выражением человека, которому сообщили, что Деда Мороза не существует. – Это же фэнтези. Здесь важна идея. Эмоция. Ужас. Ты смотришь

на это и чувствуешь что-то, – он прижал ладонь к груди, – вот здесь. А не тут, – он постучал себя по лбу.

– Ужас должен быть основан на нарушении узнаваемых законов, а не на их полном игнорировании, – вмешался Марк, тасуя колоду. Его пальцы двигались с механической точностью – риффл-шаффл, идеальный, как из учебника. – Иначе это не ужас, а абсурд. «Зловещая долина» работает именно потому, что мозг распознаёт знакомое и одновременно видит чужое.

– О, началось, – Артём закатил глаза. – Мистер Алгоритм и мистер Калькулятор объясняют мне, как работает искусство.

– Абсурд – тоже рабочий инструмент, – заметил Виктор.

– Вот! – Артём ткнул в него кистью, которую так и не убрал из-за уха. – Вот это ты хорошо сказал. Абсурд – это основа комедии! А комедия и ужас – две стороны одной медали! Почему «Зловещие мертвецы» работают? Потому что Рэйми одновременно и пугает, и смешит!

– «Зловещие мертвецы» – фильм, а не игровая механика, – возразил Марк. – В интерактивной среде абсурд снижает иммерсию. Игрок перестаёт верить в правила мира.

– Или начинает смеяться. А смех – это тоже вовлечение!

– Смех – не метрика, которую можно оптимизировать.

– Конечно, нет! В том-то и дело! Не всё можно оптимизировать, Марк!

Виктор молча взял свои карты. Посмотрел. Двойка треф, девятка бубён. Мусор. Он не пошевелился.

Спор был для него белым шумом. Фоном, на котором ярче проступали паттерны поведения его коллег. Артём использовал хаос как щит и источник вдохновения – заваливал пространство словами, образами, цитатами, чтобы не оставалось тишины, в которой можно было бы услышать сомнение. Марк пытался навести порядок – в спорах, в картах, в мире – не потому что верил, что порядок возможен, а потому что боялся альтернативы. Оба подхода были неэффективны. Оба были предсказуемы.

– Ставлю, – ровным голосом произнёс Виктор, выкладывая фишку. Спор прекратился, как выключенное радио.

Игра началась.

Артём играл, как жил: импульсивно, широко, с блефами, которые были очевидны для всех, кроме него самого. Он рейзил с десяткой-двойкой, потому что «чувствовал энергию карт», и обижался, когда проигрывал, – не на соперников, а на карты, как будто те его предали.

– Нет, ну вот как?! – восклицал он, переворачивая проигранную руку. – У меня же было предчувствие!

– У тебя было предчувствие, что ты проиграешь? – уточнял Марк, аккуратно складывая выигранные фишки в ровную стопку.

– Нет! Что выиграю! Но карты... карты, понимаешь, они не слушают!

Марк играл противоположно: тайтово, консервативно, по книге. Входил только с сильными руками, делал ставки по таблице, никогда не блефовал. Его игра была безупречна – и абсолютно читаема. Виктор знал его диапазон с точностью до карты.

– Марк, ты когда-нибудь пробовал блефовать? – спросил Артём, разливая чай из чайника с отбитым носиком.

– Блеф – это ложь с неизвестным исходом. Я не вижу в этом ценности.

– Ценность – в риске! В ощущении! В том, что ты прыгаешь, не зная, есть ли внизу вода!

– Прыгать, не зная, есть ли внизу вода, – это не храбрость. Это глупость.

Артём повернулся к Виктору:

– А ты что думаешь?

Виктор помолчал. Поднял взгляд от карт.

– Я думаю, что блеф – это не ложь. Это контролируемое управление чужим восприятием реальности. – Он сделал паузу. – И среди нас троих только я понимаю разницу.

Артём захохотал – громко, запрокинув голову. Марк чуть приподнял бровь, что для него было эквивалентом овации.

Виктор не улыбнулся. Он смотрел на свои карты – мусорные, непригодные, – и уже знал, что выиграет эту раздачу. Не потому что карты хороши. Потому что он знал, как работают Артём и Марк. Знал их алгоритмы. Знал их слабости.

Они были не друзьями. Они были полигоном. Живой лабораторией, в которой Виктор оттачивал самый ценный навык – контроль над самыми непредсказуемыми переменными. Над людьми.

Артём разлил чай по трём чашкам – все разные, все с трещинами, все с характером. Виктор взял свою. Отпил. Чай был слишком сладкий. Он не сказал об этом. Записал в голове: «Артём. Чай. Три ложки сахара. Компенсация тревоги через углеводы. Отметить».

Игра продолжалась. За окном Москва гасила огни. В квартире, заваленной комиксами и мечтами, три человека играли в карты и думали, что знают друг друга.

Один из них – знал.

\* \* \*

*31 августа 2003 года. Москва.*

Вера шла домой с лекции.

Август догорал. Воздух был тяжёлым, медовым, напитанным пылью и бензиновым маревом. На бульварах желтели первые листья – не осенние ещё, а просто уставшие от жары. Москва готовилась к первому сентября: в витринах – букеты, рюкзаки, тетради. Девочки в белых фартуках на рекламных плакатах. Запах астр из каждого второго ларька.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.